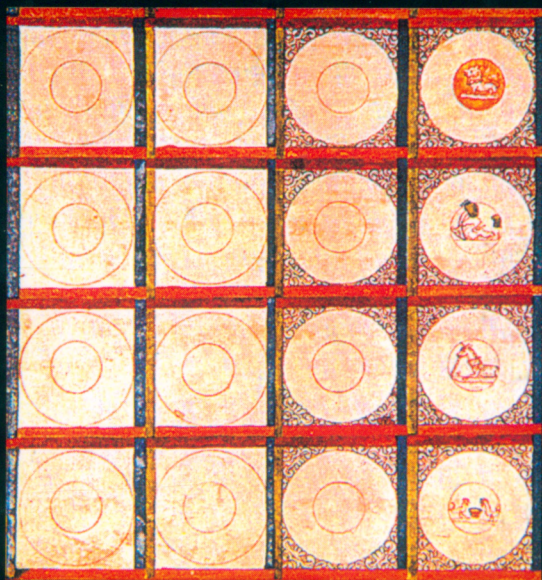


Олег Юрьев



Новый Голем
или Война стариков
и детей

Роман в пяти сатирах

Новый Голем, или Война стариков и детей

Олег Юрьев



Олег Юрьев

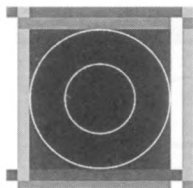
НОВЫЙ ГОЛЕМ

или Война стариков и детей

Оригинальность сюжета, роскошь языка, сатирическую язвительность и поэтические детали – все это поклонники прозы Олега Юрьева найдут и в его новом романе «Новый Голем, или Война стариков и детей», головокружительной фантазмагории о «невидимом десятилетии», о девяностых годах прошлого века. Основное место действия – городок Юденшлюхт, он же Жидовска Ужлабина, на немецко–чешской границе. Рассказчик, «петербургский хазарин» Юлий Гольдштейн, переодевается Юлией, чтобы получить стипендию (по женской квоте) в юденшлюхтском «Культурбункере», где его ожидают самые невероятные вещи: следы легендарного Голема, глиняного истукана, созданного средневековым пражским раввином и прославленного Густавом Майринком, пересекаются здесь с историей маленького хазарского племени, занесенного в богемские горы, и уводят героя в Петербург и Нью-Йорк. Олег Юрьев мастерски смешивает факты и вымысел, холодную насмешку и нежность – широчайший диапазон его голоса позволяет ему легко переходить от метафоричности к грубой простоте, от забористых шуток к тонким эротическим переживаниям, от издевательства над политическими клише к серьезным историко–философским размышлениям. «Новый Голем», невероятно смешная и очень горькая книга, рассказывает о недавних – резких и внезапных и потому никем до конца не осознанных – переменах в Восточной и Западной Европе, о времени, когда были выпущены казавшиеся давно усмирёнными демоны истории. Особый «бонус» для читателей, очарованных предыдущей книгой Юрьева «Полуостров Жидятин»: при внимательном чтении «Нового Голема» можно понять, как сложилась (через семь лет после событий на пограничном полуострове) судьба основных персонажей этого уже ставшего легендарным романа.



Олег Юрьев



Новый Голем

или Война стариков
и детей

Роман в пяти сатирах

ГЕШАРИМ
ИЕРУСАЛИМ
5764



МОСТЫ КУЛЬТУРЫ
МОСКВА
2004

ОЛЕГ ЮРЬЕВ

НОВЫЙ ГОЛЕМ, или ВОЙНА СТАРИКОВ И ДЕТЕЙ

Роман в пяти сатирах

Издатель *М. Гринберг*

Зав. редакцией *И. Аблина*

Послесловие *Н.-Э. Забалотной*

Компьютерная верстка *К. Москалев*



*Книга издана при поддержке Благотворительного
Фонда «Российский Еврейский Конгресс»*

Мосты культуры, Москва

Тел./факс: (095) 684-3751

e-mail: gesharim@e-slovo.ru

Gesharim, Jerusalem

Tel./fax: (972)-2-624-2527

Fax: (972)-2-624-2505

e-mail: house@gesharim.org

www.gesharim.org

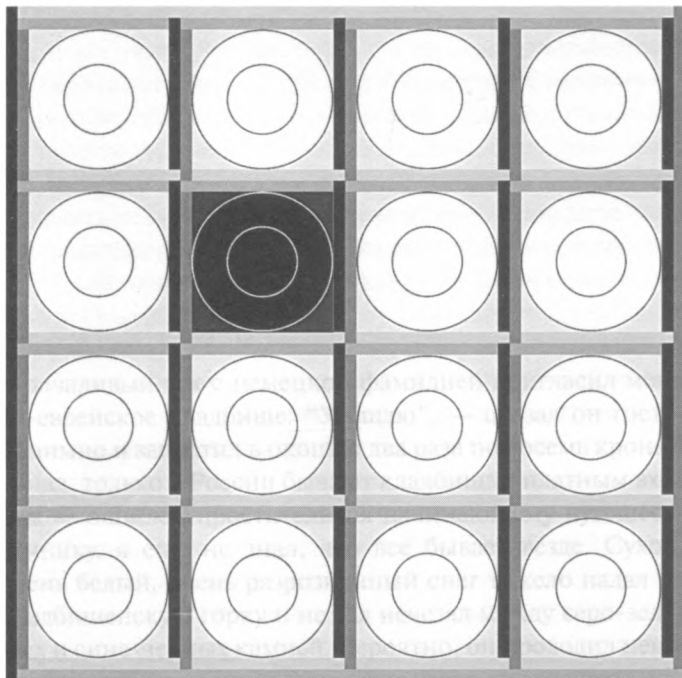
В оформлении обложки использована иллюстрация из книги
А. Канцедикаса, И. Сергеевой «Альбом еврейской художественной
старины Семена Ан-ского». М., 2001.

© Олег Юрьев, 2004

ISBN 5-93273-167-2

© Гешарим / Мосты культуры, 2004

Вступление:



Декабрь
девяносто
второго

ГЛАВА 1

ПЯТЬ МИНУТ НА КЛАДБИЩЕНСКОЙ ГОРКЕ

Молчаливый чех с немецкой фамилией пригласил меня на еврейское кладбище. “Угощаю”, — сказал он гостеприимно и заплатил в окошко два раза по восемь крон. Я думал, только в России бывают кладбища с платным входом — ошибка, простительная начинающему путешественнику, я еще не знал, что все бывает везде. Сухой, очень белый, очень разрозненный снег тяжело падал на кладбищенскую горку и не тая исчезал между серо-зеленых и сине-черных камней. Вероятно, он проходил невероятно глубоко, может быть, до самого дна пещеры, которая имеется подо всяким еврейским кладбищем, и в капельных сумерках скапливался там на полу тусклой мучнистой кучкой. Думать об этом было неприятно, как неприятно брать из общественной библиотеки книгу, где между всеми страницами несомненно сыпалась к середине и плоско слежалась чужая перхоть. Мы кружили — мой провожатый спереди, я за ним — по обвинчивающим горку дорожкам и всё оглядывались. Он на меня, я от него. Двенадцать тысяч целых и раздробленных плит

стояли и лежали в тесноте и, разумеется, не в обиде. Обижаться было некому — все давно ушли. И не на кого — на Него не обижаются. “Обычно меня просят показывать могилу Кафки, — сказал провожатый. — Я нашел одну поблизости и показываю. До настоящей ехать далеко, за город. Хочешь?” Я не хотел. Он посмотрел на меня с благодарностью.

Остаток пражского гетто, Йозефштадта, снесенного в конце девятнадцатого века решением австро-венгерского градоустройства, состоял из этого кладбища, из Староновой синагоги — древней каменной избы с высокой, неувлимо кособедренной крышей — и из еврейской ратуши, куда снаружи были вделаны идущие справа налево часы. Под идущими слева направо. В первом этаже ратуши работала кошерная столовая, смеющиеся американцы покупали у входа открытки, русский в полосатом тельнике торговал милицейской фуражкой. Мой провожатый терпеливо посмотрел вслед за мной вниз. А потом вверх, на крышу Староновой синагоги. Где-то там, на чердаке без дверей и без окон, должно было сохраняться глиняное тулово Йозефа Голема. Одноименное кафе с кока-колой и гамбургерами на собачьей крови размещалось в двух кварталах по направлению к Староместской площади, но, к счастью, было заперто на амбарный замок. Прага вдыхала снег, проглатывала его и металлически кашляла онемевшим горлом. Кашлянул и провожатый — поскольку встретил на горке знакомого. “Рабби Лёв. Который Голема сделал”, — было мне коротко сказано. *...И он просил небеса открыть ему в свидении, как противостоять христианским священникам, распространяющим ложные обвинения. В ночном откровении было ему сообщено: сделай образ человека из глины, таково расстроишь ты намеренья злонамеренных. Двадцатого дня месяца адара пять тысяч триста сорокового года, в четвертом часу пополуночи, рабби <Лёв> с двумя ученика-*

ми отправился к протекающей за городской стеною реке, <к месту,> где на берегу брали глину. Там они из мягкой глины сложили человеческую фигуру. Сделали ее трех локтей в высоту, придали лицу очертания, вылепили руки и ноги и положили спиной наземь. Затем встали в ноги у фигуры, и рабби повелел одному из учеников семижды обойти ее кругом, произнося при этом составленную им формулу. Когда это было сделано, фигура побагровела подобно горящему углю. Тогда рабби повелел другому своему ученику другие семь раз обойти фигуру, говоря при этом другую формулу. Жар исчез, тело увлажнилось, и от него пошел пар, из кончиков пальцев проросли ногти, волосы покрыли голову, и тело фигуры и ее лицо стали подобны телу и лицу сорокалетнего мужчины. Последним предпринял семикратный обход тела сам рабби, тут все трое сказали стих из книги Бытия: и Б-г вдохнул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою... По ночам глиняный робот, преимущественно в состоянии невидимости, патрулировал гетто и в случае появления подозрительных лиц с подозрительной ношей, подозрительно напоминающей мертвого подкидыша, тут же волок их в городскую стражу. Мнение Густава Майринка, утверждавшего, что рабби Лёв Магарал создал искусственного человека для исполнения работ по хозяйству, ни на чем не основано. Напротив, рабби пришлось вынуть у Голема клочок пергамента с жизнедающей формулой изо рта, когда он узнал, что пани раввинша пыталась использовать его создание в качестве банальной домашней прислуги. ...Мы постояли у каменного сундука, потом нас выгеснили американские хасиды в шелковых черных халатах и лисьих малахях. На белых мягких ладонях у них лежали уже наготове поминальные камешки и записки. “Я люблю этот город, — сказал я. — Особенно сейчас, когда его не видно”. Мой спутник кивнул. Снег и туман и бензинный дым скрали по верху всю стобашенность и златость, остались

только запятнанные жестяные крыши, и стены в старой штукатурке, и матово заиндевелая мелкая брусчатка мостовых.

У меня тут не было ни родных, ни знакомых — только пьеса, которую давали в одном местном театре, да еще, может быть, Йозеф Голем, рыжий морщинисто-глиняный шмат на чердачном полу. И того, как оказалось, не оказалось. “Германцы в сорок третьем году увезли, — виновато оглядывался угрюмо-гостеприимный хозяин и от непонятной неловкости косо разводил руками. — Взяли из Терезина двух раввинов, велели им петь и кружиться на лестнице и бить ломами чердачную стенку, потом всех троих увезли куда-то на Немечку. Раввины, те дрожали и всхлипывали, потому что ходить в тот чердак вам, евреям, запретил еще рабби Иезекиель бен Иегуда Ландау, в XVIII веке, под страхом вечного проклятия. Креститься и то не так страшно... Но что толку им было креститься, бедным раввинчикам?” Действительно, что им было толку креститься? ...Пьесу же мою играли так хорошо и успешно, как не мою. Так что у меня тут совсем никого не было. Ночевал я в гостевой квартире русского посольства, где телефон не работал на город и стерильно пахло старательно выведенным запахом когдатошних не то явок, не то пьянок — той особой советской чистотой, какую в сегодняшней России едва ли и встретишь. Таким образом театр сэкономил на гостинице, посольство услужало культуре, я засыпал и просыпался в бездонной шпионской постельке. Мне ничего не снилось. Я любил этот город, особенно, когда его не было видно. *Если бы только не этот Кафка!* — думал я, вышагивая на обратном винте за широкоплечим пальто моего Вергилия. Это одноугольное лицо, этот заросший угольным волосом лоб, эти маленькие косые глаза наплывали со всех книжных витрин, морщились на всех сувенирных футболках, выпукливались со всех мемориальных досок, даже,

кажется, волнисто передергивались на государственных флагах. Кафе “Кafka”. Кафе “Голем”. Лучше бы все осталось при пиве и бравом солдате Швейке. “Знаешь, что такое иерихонская роза?” — спросил я широкую спину. “Взять немножко сухого дерьма, полить водой — это и будет иерихонская роза”, — готовно ответила спина близко к тексту.

И мы спустились с горы, и вышли за кладбищенские ворота, и вернулись к посольству, и взяли чемоданы, и поехали на вокзал, и поцеловались как театральные люди, и я вошел в ночной мюнхенский поезд, а он остался уменьшающейся спиной на перроне. Я смотрю в окно на сырое немецкое небо, на толстую красноносую птицу, которая ходит туда-сюда по прыщеватой ветке каштана, на серо-пятнистый куб нового юденшлюхтского горсовета, куда вделаны идущие слева направо часы, никуда не идущие. Что сказать о Праге еще? Я бы полюбил этот город, если бы мне его не было видно, даже отсюда.

САТИРА ПЕРВАЯ
ДЕКАБРЬ
ДЕВЯНОСТО ТРЕТЬЕГО

*Er wohnt, wo kein Mensch wohnen kann:
an der Mauer zur letzten Latern.*

G. Meyrink. *Der Golem*¹

1 Он живет там, где человек жить не может:
у стены рядом с последним фонарем.

Г. Майринк. Голем (нем.).

ГЛАВА 2

ЖЕНЩИНА В ГОЛОМ

Я смотрю на сырое немецкое небо в окне, на глянцево-черную красноносую птицу, которая ходит туда-сюда по прыщеватой ветке каштана, на маленький сливочный торт (в обледеневших бледно-зеленых и ядовито-розовых завитках) жидовскоужлабинской ратуши — во фронтон, слегка мохнатый от изморози, вделаны неизвестно куда идущие с итальянским циферблатом часы: стрелка всегда показывает без тринадцати восемнадцать. Год прошел, как я приехал из Праги и встал у окна, сороковой год моей жизни, а я так и не знаю, в какую сторону она двинется дальше.

Тогда, год назад, только поезд на Мюнхен преодолел содроганье и лязгая сдвинулся, я пошел в уборную бриться. Руки мне хазарская кровь, слава Господу в вышних, сделала безволосыми, не то как бы я левой рукой брил правую? С другой стороны, обе они у меня были левые и обе из жопы росли, по двадцатипятилетней давности наблюдению Тимофей-Михалыча Заяичко, учителя труда 216-й средней школы Куйбышевского р-на г. Ленингра-

да — действительно ли у него была такая фамилия? Тем не менее из правого плеча вышел один-единственный волос, длинный, блестящий и коловратный, — его я вырвал зубами. Мылить икры и голени было шекотно, брить скучно, а не мылить и не брить невозможно — на ногах хазарская кровь не сказывается. Но показывается. Еще с кладбища я написал — одной левой — в нюрнбергский стипендионный фонд “Kulturbunker e.V.”. *Дамы и господа*, писал я на принятой в Американской Империи умеренно вульгарной латыни, *Ladies and Gentlemen*, я предполагаю сочинение исторического романа-исследования о деятельности особой группы СС “Бумеранг” по разработке секретного оружия на основе големических преданий об оживлении мертвой материи. Как мне стало известно в результате исследовательской работы в чешских архивах, материалы по этому проекту, включая сюда и уникальные экспонаты из фонда Музея вымершей расы, были в конце Второй мировой войны вывезены из Праги на территорию Германии, в Рудные Горы (*Erzgebirge*, район г. Юденишлюхт). Я был бы весьма Вам признателен за предоставление возможности и т.д. и т.п. *Sincerely yours, J. Goldstein, Russian author.* “Культурбункер” ответил на следующий день, будто сидел через улицу Под Каштанами, в бывшем Клубе советско-чехословацкой дружбы, доставшемся при разделе недвижимости незалежным и нецелинным казахам: *Дорогой (-ая) коллега, мы были бы рады предоставить Вам годовую рабочую стипендию в одном из наших комфортабельных культурбункеров во Франконии, Фогтланде или в Рудных Горах. Такие вопросы обычно не решаются кратко-срочно, но по счастливому для Вас стечению обстоятельств внезапно освободилась одна из уже предоставленных нами вакансий. Единственное затруднение: эта стипендия — по женской квоте в соответствии с решением Сената от 5.4.1985 г. “О дополнительных твердых квотах для угнетенных меньшинств в организациях, субсидируемых*

из личных средств Императора и Народа”. По Вашему письму, ввиду парадигматических особенностей английской речи, неясно, кто Вы по половой принадлежности — писатель или писательница. Если Вы женщина, то мы ждем Вас начиная с первого числа следующего месяца, т.е. с начала нового, 1993 г. С просьбой о срочном ответе и с дружеским приветом, д-р К. Трегер. Я тут же попросил Юмашеву Ризеду Бореевну, бывшего старшего лейтенанта войск связи, а ныне младшую уборщицу дипгородка, не сворачивать с извилисто-вогнутых бедер голубые трусы в желтый горошек (знак ее тайных бандеровских симпатий), а сходить вместо этого отослать телеграмму — только, ради Аллаха, не с посольской почты, а с городской: *Female воскл. знак, воскл. знак, воскл. знак Sincerely Yours тчк July Goldstein тчк*. На знаках препинания я не экономлю.

У чернощеккой цыганки на Виноградах я за сто семьдесят крон укупил себе юбку до шиколок, черную в багровых бифштексах и плиссированную, как Черное море, а к ней пузырящуюся кофту алее бывшей обкомовской скатерти. Бархатную, из рытого такого эрзац-бархата. Волосы затянул сзади аптечной резинкой — вышел жесткий хвостик, похож на плохую малярную кисточку. Губы натер перламутрово-блядской помадой польской, веки — самодельными цыганскими сиренево-страстными тенями, украденными у Ризеды Бореевны из планшетки, пока она пела “*Bandera rossa*” и “Миллион, миллион, миллион алых роз” в душе, и, чтобы обширней оглядеть себя в зеркале, взлез на стальное *седадло* поездного очка — и удивился без удовольствия: точь-в-точь, лицо в лицо я походил на одну московскую драматургессу. Только у той глубоко под носом росли маленькие черные усики, каких у меня не было.

Ничего я ни о каких Големах, разумеется, не собирался писать, никаких таких сочинений — пускай даже в заманчивом роде *магических утренников*: плохой, но вели-

кой книги безумного Майринка человечеству более чем достаточно. Все, что мне от них было нужно — на скромных стипендионных сестерциях пересидеть междуцарствие и семибоярщину в бывшем Скифопарфянском Союзе, где я родился и вырос, да поразмыслить без спешки над “Войной стариков и детей” — романом из жизни маленького хазарского племени, попавшего в двенадцатом или тринадцатом веке через Венгрию в богемские горы. Каждый год поздней осенью, после забоя баранов и отхода мужчин на заработки, преимущественно по скобяному, кузнечному и разбойному делу, дети и старики сбивались в два вооруженных чем попало отряда, избирали предводителей-беков и, отрезанные от внешнего мира снегами и селями, в течение трех дней пытались поубивать друг друга кто сколько сможет, такой у них был народный обычай. Об этом докладывала на финно-угорском семинаре в Ленинградском географическом обществе (пер. Гривцова, 10) перешедшая в иудаизм ижорка Света-Сарра Николайнен. Опытные *грантососы* в Москве сказали мне как один человек, что на Западе под такие сюжеты стипендий отнюдь не дают, *вот если бы что-нибудь такое, крутое, ну ты понимаешь...* И поделали в сытом московском воздухе пальцами, точно вкручивали и выкручивали электролампочку. В вагонном проходе, пока я (выставив по-боксерски сведенные локти) протискивался мимо притворно спящих на тюках поляков, курящих женщин неизвестного происхождения и пожилых немецких пограничников с бородками как у Ленина, никто на меня даже не глянул, что мне было по-женски обидно. Под юбку сильно задувало, икры моментально замерзли и на корнях сбритых волос напухли пупырышками. Я чувствовал себя незащищенным и голым — раскупоренным — исподнизу. Поезд уже переехал границу: наклоненные отражения станционных табличек загорались и меркли по-немецки.

ГЛАВА 3

ДВЕ БАШНИ

Я смотрю в окно на сырое чешское небо, на сырую красноносую птицу, которая ходит туда-сюда по прыщевой ветке каштана, на ровно зеленый шпиль старой ратуши юденшлюхтской, куда вделаны идущие слева направо часы. Который час, с моего поднебесья не видно — циферблат полускрыт козырьком, затенен мокрым снегом и утренним горьким туманом, а золоченые когда-то стрелки потускли. Но они и не ходят. Еще ниже, на Трехратушной площади, полукруглом расширении улицы, идущей из Германии в Чехию, обе городские власти совместно и генерально репетируют — видимо, с музыкой — сегодняшний приезд нового Цезаря: здесь, на бывшей границе, он (по выражению позавчерашних “Юденшлюхтских новостей”, *в неофициально-торжественной обстановке*) будет принимать под высокую руку чехов, ляхов и молдовалахов. Часа этак через два, через три с половиной, если императорский борт не задержат над Атлантикой ураганы. Радио “Свобода” обещало ураган “Брутус”.

Когда я, год без пары суток назад, отвокзальным автобусом приехал из города Гофа, и вынул из-под осклизлого подворотного камня ключи общим весом в три килограмма шестьсот семьдесят граммов, и подмел (цыганским хвостом) триста девяносто ступенек, косо врезанных в каждую из двух наклоненных над городом скал, и в самый первый раз глянул из окна студии вниз — были такие же сумерки с зеленоватой взвесью в раструбах фонарей. Так же, тусклыми ожерельями лампочек, пряничными сердцами и станиолевыми лентами, был убран каштаный скелет, к Рождеству назначаемый елью. Так же слегка поворачивалась и, вероятно, древними круглыми досками поскрипывала перед ним на ветру рождественская пирамида — местный народный промысел с раскрашенными жестяными фигурками по последнему, третьему ярусу. Во всем остальном Эрцгебирге это ангелы с приподнятыми по-гусиному крыльями — вот-вот зашипят, усатые шахтеры с кривыми нетрезвыми профилями — вот-вот сплюнут, да еще какие-то шелкунчики неясных намерений. Здесь же, в Юденшлюхте — если пирамиду толкнуть — медленно кружатся, покачиваясь и не догоняя друг друга, гном, черт и жид, все в блекло-желтых остроконечных колпаках и темно-зеленых сюртучишках с разлетными фалдами. Такая у них тут этнографическая особенность. Но сегодня *меж чех и немец*, по выражению летописца, — из Юденшлюхта в Жидовску Ужлабину и обратно — скакал цыганенок Гонза, на его широкополой шляпе подпрыгивали кучки шелково-белого пороха. Обеими руками он держался за вороненый пугач “смит и вессон” и при всяком прыжке вытягивал сведенные руки в сторону оставляемого государства. Госграница когда-то была аж тройной — здесь на Трехратушной площади сходились Восточная Германия с Западной и вдобавок еще с Чехословацкой Социалистической Республикой, и в основаниях клиньев стояли

три горсовета, а в нейтральной зоне примерно посередине — каштан. С тех пор Германии объединились, Чехословакия располовинилась (славяне размножаются нынче делением), большая граница передвинулась далеко на восток и широко растушевалась по украинам, а здешние бывшие маленькие — из трех лучей переложились раскрывшимся на восток ртом. На первых же выборах в объединенную юденшлюхтскую думу бургомистр бывшей западной части д-р Адольф Свобода потерпел сокрушительное поражение, поскольку электорат Христианского Социального Союза складывался из него самого, из одноглазого доктора Марвана Шахиди, именующего себя бывшим личным врачом бывшего персидского шаха (левый его глаз, замененный теперь бессонно-хрустальным, был, по его словам, собственноручно вырван аятоллой Хомейни), а также из ветхой годами баронессы фон Юденшлюхт-Дорофейефф из Юденшлюхтского замка и двух ее натурализованных польских уборщиц. Все остальное население Вест-Юденшлюхта состояло из колорадских горных стрелков и до черноты облученных турецких шахтеров. Оскорбленный, герр Свобода эмигрировал в Карловы Вары. Бывший горсовет гэдээровский, похожий на уменьшенный вчетверо Октябрьский концертный зал в Ленинграде, объединенными усилиями объединенных наций переделался за ненадобностью (*так мало стало браков в Юденшлюхте...*) в городской объединенный архив, куда мне — хоть раз в неделю бы! (но я хожу чаще, почти ежедневно) — надо являться к архивариусам пани Марженке Тоновой и фрау Ирмгард Вондрачек: для создания видимости *исследовательской работы в архивах*. В заиндевавшем диабазе был виден тогда еще от старого погранзаграждения след — трехконечной мерседесной звездой пацифизма. Новенький забор, полутораметровый, пупырчато-серебристо-волнистый, раскрытый угловою скобой на восток,

сейчас временно с площади сняли, а пограничников в мешковато-зеленом и новеньком встопорщенно-сером разогнали по пригородным патрулям и блокпостам: в связи с августейшим визитом въезд на Юденшлюхтскую гору только для жителей и обладателей спецпропусков литеры А, В и J (журналисты). С немецкой стороны проверки проводятся под горой, сразу за замком, а с чешской — перед цыганским толчком у поворота на *дальницу* Дрезден—Карловы Вары, где вьетнамцы торгуют польскими садовыми гномами. На Трехратушной площади осталась одна лишь стальная калитка стоять, дуга белой жести по верху. С моей стороны на этой дуге флюоресцирующим псевдославянским шрифтом написано: *Bud'te vitani!*, а с обратной — псевдоготическим: *Willkommen!* Куда именно пожаловать — и там и там замазано кривыми красными полосами.

Я, в дедушкин трофейный бинокль “Карл-Цейс-Йена”, безотрывно смотрю, как бургомистры, или, на местном диалекте, *шофеты*, оба в зеленых егерских шляпах с перышком обок, поочередно проходят вдоль выстроенных по возрастанию грудного угла девок, покачивающих под фольклорными рушниками мясá отбивных рук (блондинка—брюнетка, блондинка—брюнетка, рыжая... — да они все одно тут стоят каждый вечер в суконных жилетках, ушастых кроссовках и под юбками без трусов, как шотландская гвардия, — вот и сгодились). Сводный ужлабинско-юденшлюхтский оркестр вздувает волосатые щеки и лобные ижицы, старается передудеть вертолеты, с трех часов пополуночи зависшие над ущельем — гладкие равнодушно-напряженные лица с увеличенными жвальными желваками смутно виднеются из кабин. А мне не слышно ни тех, ни других — к ушам, надежно защищенным заглушками “Беруши бытовые обоеконечные, пр-во кооператива “Филармония”, Ленинград, 1987”, лишь тупые волны тишины подступают. Оркестр

чешским деревом, видимо, забегает за немецкую медь — щеки надуваются все торопливей. *Яначек! Толстая девка — жизнь моя!* — справедливо заметил Ярослав Гашек. Сначала Принцепса изображает юденшлюхтский д-р Хайнц-Йорген Вондрачек, милостиво кивая на все страны света, потом жидовскоужлабинский пан Индржих Вернер, благосклонно помахивая незажженной сигарой “Партагас”, потом опять Вондрачек, потом снова Вернер, и так до бесконечности, или, как писали в старинных театральных ремарках, *та же игра*. Старики вконец запыхались выкатывать к рукопожатию пальцы из выставленных перед животом кулаков. Я смотрю и смотрю вниз, смотрю до бесконечности вниз — не хочу, чтобы глаза мои поднялись на противостоящую башню, на горящее в ней полукруглое окошко без шторы. Это на чешской стороне у них настоящая антикварная башня, не иначе как донжон карликовой крепости барона фон Юденшлюхта, снесенной в начале двадцатого века решением прусско-королевского землеустройства, — первый барон был человек неизвестного рода и племени, по намеку хрониста Иоганна Богемца (*слепец прозревший и возговоривший немой*), может быть, даже крещеный еврей, получивший от Рудольфа, императора Священной Римской Империи Германской нации, баронство и ушеле с неразумными хазарами в лен, наградой за важную услугу, определенное в жалованной грамоте не обозначенную. Хорошая, старая башня, уютно-удушливо пахнет старым камнем, старой кровью, старым семенем, не то что эта моя новодельная, где я живу, — бетонный бункер времен предыдущей войны, расколоть его не удалось ни английским бомбам-двойчаткам (*британский лорд, свободой горд*, сковывал цепью фабричные бомбы: для создания деморализующего воя и экспоненциального усиления убойного действия), ни советским катюшам (известным в здешних краях как “Stalinorgel” — *сталин-*

ские органы), а снести — не вышло у семи западногерманских стройтрестов по очереди, как они его ни подталкивали плечиком турецким да югославским, — потому бункер был передан на баланс культурфонду судетских землячеств. С виду, впрочем, обе башни — под мглисто-грачиной шкуркой заиндевелого моха и под растресканной штукатуркой под ним — неотличимы одна от другой. К обеим от площади по триста девяносто ступеней винтом, обе выросли тылом в отвесы расщепленной ущельем горы — только макушки чернеются над вершинами, сейчас с тусклыми домиками из пупырчатых сборных панелей (вероятно, зенитные установки на случай внезапной воздушной атаки) и матрацными флагами в честь высокого гостя. Чешское небо темнее немецкого, горше и тучней, как чешское пиво. Там, в глубине окна, Джулиен Голдстин из Цинциннати, гость Института Центральной Европы и Африки, арендующего у жидовскоужлабинского магистрата донжон, сейчас уже, собственно говоря, должен бы дома быть, осторожно снимать с себя приталенный малиновый пиджачок, оказываясь в золоченой рубахе с поднятым воротом и от колена раструбленных тесных штанах, — но нет его, не видеть. Опять шатался всю ночь, Кот Валерьяныч, уже вторую подряд! ...Упаси бог, не стряслось ли чего с ним? ...С бывшей западногерманской стороны из переулка выходят две сутулые тусклые куртки, мужская и женская, и направляются к телефонному автомату на бывшей восточногерманской. Потекшими потемневшими спинами заслоняют той еще конструкции аппарат: первым долгом в будке выключается свет. Может, там дождь внизу? — я не умею определять, есть ли дождь, снаружи по отношению к дождю. Цыганенок Гонза, сдуваемый с площади нависшими на трех вертолетах преторианцами (из тех преторианцев, что прикладывают руку к пустой голове), целится из-за угла и беззвучно пукает сизой гу-

бой. Джулиен Голдстин, если бы был, был бы уже без рубашки — худой, ребристый, грудастый — и начинал бы — не без труда, что при загипсованной ноге и понятно — скатывать брючки, оказываясь в звездно-полосатых трусах “плавки” с нечеловечески оттопыренным передом. Каждое утро в 10.13 (в 10.09 приходит автобус из Гофа) всё то же самое — было бы можно городские часы проверять, если бы хоть одни из них хоть куда-нибудь шли. Потом, переступая ногами без икр, стянет и плавки, развяжет у себя на крестце ремешки гигантской эбонитовой письки, постоит перед зеркалом голый, сутулый, безбедный, полутораногий, устало растирающий покатым лобом (бритая щель восходит почти до пупа — злой *королек*, умеющий писать стоя и писать лежа), и, в махровом халате, с дешевой чешской сметаной на лбу и щеках, рухнет под торшерный глаголь на тахту — плоский компьютер мигнет голубеньким со сведенных коленей.

Сходить, что ли, в Жидовску Ужлабину, в бывшую столовую бывшего рудника им. Клементя Готвальда, ныне кафе “Кафка” — позавтракать палачинкой, толстым, бледным, переложенным взбитыми сливками, вчетверо сложенным нерусским блином, щедро опорошенным порошковым какао? *Спите мирно, палач с палачинкой...* Или в сереющий сквозь наклонный парк замок (тоже останок бывшей бароновой крепости) в начале серпантина к шоссе — выпить у беглых советских маланцев грузинского чаю с молдавскими сушками? Или на площадь спуститься — позвонить за бесплатно (продырявленной немецкой монетой на ниточке) в Нью-Йорк: папе с мамой, печально сидящим на кухне перед окном, полным красного кирпича? А можно и в Ленинград бывший — тем, кто еще не уехал или еще не умер, немногим. Хотя нет, пожалуй, лучше не надо — при всяком движенье так ноет какая-то жила в правом бедре, что не то что спус-

титься по лестнице (триста девяносто все же ступенек!), но и просто присесть невозможно — можно только стоять, подсогнув правую ногу. Да и звонить из телефонной будки опасно — во утаение баритона я представился в администрации бункера и повсюду немою, а изъясняюсь посредством бумажек с надписями на известных и неизвестных мне языках, звонить же и блядовать, *как тот ежик*, приходится ездить в Карлсбад, переодеваясь в поезде Гоф—Карловы Вары мужчиной с усами. Д-р К. Трегер, как прознал у себя в Нюрнберге про мою немоту, так чуть не умер от счастья, что я ему, кроме женской, и квоту на инвалидов довыполняю еще, по которой у фонда трехлетняя накопилась задолженность, и от полноты чувств прислал мне отчаянно непричесанного, особенно на щеках, Бетховена нарояльного типа в подарок — керамически-рыжего. ...Но в замок все одно не попасть: Йозеф Тон, общежитский дворник и управдом в одном желтовато-круглом лице, что у немцев называется *хауз-майстер*, а у чехов, кажется, *домовник*, не разомкнул еще с ночи ворота и не поднял ржавого мостика надо рвом — третьего дня, разговаривая между собою на суржике, ушли перед сном *прошвырнуться* и никогда-никогда не вернулись заслуженные артисты разговорного жанра Кабардино-Балкарской АССР Корольштейн и Полурабинович, тел пока не нашли. Говорят, на горных дорогах пошаливают дезертиры из постепенно отводящейся в Скифопарфию *группы войск*, а атаманом у них, говорят еще, бывший ефрейтор стройбата — грозный жиган-жиганок с невероятной какой-то фамилией, типа, что ли, *Жидятый*.

ГЛАВА 4

ДНИ ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ

В створке бойнички моей, в полукруглоголовой, растворенной вовне, матово переливается и пересекается с сумеречными соплями над площадью — скошенно, немно и яростно — ромбовидное отражение телевизора “Stassfurt” производства б. ГДР (сам он за спиной у меня, на комодике — старинный, гигантский, разделан под серо-полосатый орех, а на нем рыжими бакенбардами страшный Бетховен) — переливалось бы, будь он включен. Но включается и выключается он по своему разумению — когда хочет: клавиша “Вкл.” утопла и не выковыривается, а пульта дистанционного управления, иначе называемого *еврейский баян*, к древнему “Штассфурту” не полагается. На второй день, как я въехал, что-то заскочило в серебре и стекле его внутренностей, или же неприспособлен он оказался *ментально* к двадцати четырем немецким программам общеимперского кабеля, пяти чешским, CNN, “Евроспорту”, MTV и TRT — страстному турецкому инновещанию имени Полада Бюль-Бюль-оглы: изображение стало перескакивать с канала

на канал, через каждые тринадцать секунд регулярно. Закона его перескоков я тогда выявить так и не смог, хоть и сидел перед ним часы напролет по-турецки — дни напролет, месяцы (в подоле распяленной коленями юбки лубяной короб с казинаками, похожими на обломки солнечно-пыльных крепостей левантинских, из турецкой же лавки) — на бобрике, засеянном крошками и свитками извилистой пыли (Божена-уборщица уехала отдыхать на Канарские острова и вышла там замуж за цыганского барона Виталио, репатриировавшегося из Ленинградской области как *республиканский ребенок*), сидел и записывал в сувенирный блокнотик “700 лет Юденшлюхту” бесконечные столбцы номеров. Месяца три с половиной, со второго дня как приехал, сидел напролет, до середины апреля, потом от турецкого сидения этого у меня стали сдвигаться и шелкать мениски, и я уехал в бывший г. Ленинград — недели на две по архивному делу.

Там, в б. Ленинграде, лет что-то десять назад, то ли шутя, то ли притворяясь, что шутит, во всяком случае — отгибая к спине плоскую, но румяно-щекастую, благородными вихрами расширяющуюся от ушей голову, голову как бы лауреата Сталинской премии, объяснял мне Б.Б. Вахтин, сын Веры Пановой, переводчик с китайского и непечатный по тогдашнему скифопарфянскому вкусу прозаик, что единственной книгой, действительно профессиональному литератору нужной, является календарь памятных дат, да потолще и поподробнее. Единственный же секрет литературного и журналистского ремесла, особенно радиотелевизионного: *запомните, Юлий: юбилейной датой считается всякое годовое число, без остатка делимое на пять.*

Нет, больше десяти, даже больше двенадцати — в семьдесят первом он умер. Кажется, осенью.

Все же не знаю, единственный ли это секрет. Сомневаюсь. Когда я приехал, по семи объединенно-немецким каналам одновременно, но с отстоянием в несколько кадров шли “В джазе только девушки” — под Новый год (и месяц потом еще), рассказала мне Ирмгард, бургомистрова внучка, у них всегда идут “В джазе только девушки”, это как у нас “Раз-два-три, елочка, гори, или С легким паром”. Но и тридцатилетие Мерилинкиной смерти, в соответствии с юбилейной наукой, недалеко еще было тогда, что-то с полгода, когда я приехал: ...укулеле в вагонном проходе, ляжечная фляжечка бряк... *I wanna be loved by you*, сиськи под газом, как дыни-корольки, неподвижны на белом шевелящемся теле... и вдруг — сиськи под газом, как дыни-корольки, неподвижны на белом шевелящемся теле, *Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Mr. President, happy birthday to you...* и — по горло в свитере, курносая, старая — бедная старая еврейская девушка Мерилин: курит, глядит никуда, что-то бормочет — экран несколько раз подпрыгнул на месте, я разобрал пару закадровых слов: разоблачили, оказывается, пожалуйста бриться: не самоубийство, разумеется, никакое, а евнухи из тогдашнего цезаря личной охраны в ангельский гинекей ворвались и, бедную, отравленным клистиром ее умертвили. Цезаря или брата цезаря? Не разобрал, ускакало.

Но как бы покойный Борис Борисович объяснил мне другое? Почему разноухий актер, человечеству неизвестный, в шестидесятилетней давности шестьюразрядной фильме вот, балансирует между столиками хрустальным подносом на поднятом над головой троеперстии, а два перескока спустя он же, но в шляпе, высовывается из-за сарая, чтобы подставить морщинистый лобик под “смит и vesson” набриолиненной курочной знаменитости? И больше его никогда не будет, а если и будет, так снова дважды зараз. Почему, если сырая блондинка смотрится в зеркало, то через три прыжка обнаружится научно-по-

пулярный фильмец о производстве венецианских зеркал (или тель-авивских блондинок, или по культурному каналу Тарковский), а еще через пару — симпатичный вампир, сосредоточенно чистящий перед сном длинные зубы? Это может быть и рекламой пасты. Почему искусно замурзанный вестерновый вахлак, *His name is Nobody*, продолжается на “Евроспорте” заставкой всемирного конкурса парикмахеров: IS (International Styling), а заканчивается телевизионным уроком английского (...а сейчас, дети, мы начнем изучать время, называемое *Past Perfect*)? **НАЙДИ И ПРИШЛИ В РЕДАКЦИЮ СПРЯТАННУЮ ФРАЗУ!** А бывает еще и другое, бывает, что одно какое-нибудь мелкое слово застрянет и бьется, и бьется, отскакивая во всех падежах и родах (ну, какие там у них падежи...). Да кто бы нарочно стал программировать бесчисленные эти повторы, подбросы, подхваты, эти поперечные сюжеты дурацкие? Не иначе, постепенно пришел я к суждению, в медиальных решетках засели какие-то малолетние бесы — они-то эти узоры и складывают, для собственного удовольствия, играя друг с другом — или друг против друга — в какой-то своей — сквозной, что ли, реальности, проходящей в *отдельную (любительскую и полупрофессиональную)* реальность отдельного зрителя сквозь каналы телевизионных каналов. И чем этих каналов больше, тем ближе эта реальность, тем плотнее она сшивается с нашей... — так я подумал и даже затеял об этом писать тяжеловесно-остроумный эссе не без мысли, нерусской и задней, продать его в “Русскую мысль”, выходящую в городе Париже газету, где Бунина принципиально называют Иваном Андреевичем, а некрологи помещают в разделе “Пути русской культуры”. Но выяснилось, что незадолго до этого Американская Империя отключила антисталинский орган от крантика с даровыми денариями, и пришлось ему, *солнцем палиму*, брести на туфлелобзание к римскому папежу. Вслед за чем на рю дю Фобур-Сент-Оноре подъехали четыре мрачно-любезных аббата из ва-

тиканского финотдела — месяца четыре проверяли ба-лансы начиная с 1948 г. *Аты-баты, шли аббаты...* Тем аб-батам, однако же, нашептали добрые люди, что это я-де, устно и письменно, предлагал переименовать “Русскую мысль” в “Римскую блядь”, пользуясь выражением протопопа Аввакума, и забубенное это бонмо сообщено бы-ло лично Великому Пшеку. Тот поставил вопрос карди-нально, я бы сказал, *na nona*, и собственноручно составил энциклику “*Iulio Goldsteino prohibemus*”. Так что писать я о демонах медиальных ничего не писал — только ходил от телевизора к окну и обратно, до середины апреля хо-дил, до отъезда в обратно переименованный С.-Петер-бург по архивному делу. Потом, вернувшись и не скинув-ши даже маминой плешивой цигейки до середины бедра, поднял блокнот с бобрика и перелистнул чубастые стра-нички еще раз: цифры, цифры от 1 до 33 — столько в те-левизоре юденшлюхтском каналов. Столько и букв в рус-ской азбуке, спаси ее, Господи, в эти смятенные дни — дни переделов и переименований. И как *русская пиани-стка*, прямо в цигейке уселся к столу — подставлять. Оказалось, из б. Ленинграда письмо — мне, от Елены Ан-дреевны Шварц. Как же я сразу не догадался, когда “Штассфурт” начал скакать по каналам?! *Голова — не Дом Советов*, говорила покойная нянька моя, баба Катя, и смеялась, развеваясь седая.

Дорогой Юлий! О Стрельне: перенасыщенное смертью, тлением, гниением и слухами о кладах и подземных ходах место, при этом тускло освещенное заливом, его сиянием. В войну там прямо на берегу погибло огромное количество ополченцев, которых десант выбросили прямо в залив, а немцы с берега из пулеметов всех почти положили. Двое-трое ушли по воде в город. Братская могила как раз на на-шей улице была, за нашим домом, мама там свечи ставила. А еще ближе к Заливу часовенка св. Николая, первая в Рос-сии из железобетона. Мы снимали дачу на улице Порто-

вой — ударение польское, на предпоследнем слоге. Мы там с Вами проезжали. Она главная в приморской части. На одном ее конце деревянный дворец Петра, на другом яхт-клуб. На берегу речки Стрелки, параллельной этой улице, мы снимали верандочку и крошечную комнату с почти провалившимся полом и маленькую мансарду, где мама жила, где тоже все было в состоянии крайней ветхости. Кухни не было, там жили десять кошек, подобранных хозяйками, и ужасный запах. Этот дом — самый ближний к Заливу, единственный сохранившийся после войны, когда-то большой и крепкий, там был немецкий штаб. Все остальные дома сгорели. Хозяйки — две старушки, из которых старшей девяносто лет. Ее муж был смотритель парка, он умер от горя, чуть ли не с собой покончил, когда при Хрущеве вырубил все деревья в парке. Для красоты. Во многих дворах между Стрелкой и Портовой растут еще посаженные при Петре дубы или их дети. У меня был такой любимый дуб, я все время под ним читала. Когда мы уехали (и больше не вернулись), можете не верить, но друзья, которые забирали мои вещи оттуда, сказали, что листва вся стала черная и высохла. В том же дворе однажды рухнул древний вяз и чуть меня не убил, это было как предвестие бед, и мы с мамой это почувствовали тогда же. Грохот был громовый, вся Портовая сбежалась, все ахали.

Хозяйка рассказывала, что однажды мертвая голова всплыла против их дома из-под льдины. Приходили следователи. Но так и не узнали — чья она. В соседнем доме старик повесился. Все вот так там. А напротив жили тоже довольно зловещие цыгане. У цыган сумасшедшая старуха приставала к прохожим с вопросом “сколько времени?” Они ей отвечали. А она снова спрашивала. Сын у них на рассвете бегал по улице и выл, приплясывая. Двухлетний внук сидел в канаве и курил “Беломор”, которым его угощала его бабушка.

Вы, наверно, знаете, что Блок в последнее лето жизни ездил в Стрельну купаться. На реке Стрелке недалеко от

Петровского дворца, но не видный от него, есть маленький, но завораживающий водопад, с него и начинается Стрелка. Когда мы там снимали дачу, ходили по поселку слухи о том, что в Константиновском дворце в подвалах, под террасой, отделанной ракушками, сатанисты убивают собак. А может, и еще кого. Находили изуродованные трупы собак в парке. В частности, цыганской собаки. Но они и сами однажды зарубили собаку топором. И вот сейчас у нас по нашей программе показывали дворец и говорили, что в подвалах собирались сатанисты, но их изгнали.

Да, дерево, которое меня чуть не задавило, было не вяз, а каштан.

Ну, может быть, пока хватит стрельнинских ужасов? Я не знаю, чего во мне больше — ужаса или любви к этому поселку. Все эти полулеса-полупарки, ряска, заброшенные яблоневые сады... Подземный ход из Орловского парка в Константиновский... А у залива среди осоки была такая песочная проплешина в конце дубовой аллеи, там всегда даже при солнечном свете в воздухе носились белые огоньки. Их и другие видели.

С любовью,

Лена

В полукруглоголовой, наружу распахнутой створке косо вспыхнуло — включился! *Что вдруг?!* А это кто, черно-белый, квадратный, постриженный под горшок истукан? — раскорячив ноги и руки, карабкается по изрезанной ступенями улице в гору? Почему изображение не перескакивает, почему продолжается фильм, почему черно-белые наискось смутно бегут по юденшлюхтскому небу евреи, машут руками, полурастворенные в стекольном мельканье, в вертолетном ветре, в просвещенно-жилистой мгле... титры, “ENDE”. А почему телевизор какой-то выгнутый гигантским парусом “Loewe”? — вчера еще, кажется, был “Stassfurt”, неужто же, пока я ночью ходил, мне его заменили?

ГЛАВА 5

ДЕДУШКА И СМЕРТЬ

Хорошо смотреть на все сверху, из башни: почти все миомидушие женщины, эти кентавры двуногие, кажутся сверху красавицами — пока не останятся постоять. А мужчины, которые в шляпах, — если на площади ветер — а здесь всегда на площади ветер, — идут, будто безостановочно с кем-то здороваются. И разнообразие форм человеческих лысин видишь по-настоящему только отсюда — встречаются, как на бабочкиных крыльях, почти все буквы алфавита, преимущественно О, Н или Л, но и У я уже видел, и Щ! Кроме того, в итоге узнается окончание почти всех начал: что, например, случилось с белым зонтиком, выброшенным из серебристого “ауди” с мюнхенскими номерами и овальной наклейкой “PL”, — через двое суток его поднял, когда на рассвете прогуливал свою растопыренную собачку, д-р Хайнц-Йорген Вондрачек, бессменно-бессонный бургомистр Юденшлюхта, да и унес, небрежно помахая. Тремя часами позже, у бедра белый зонтик, промаршировала в архив на несгибаемых колоннах-ногах прекрасная Ирмгард (*Die erste Kolonne*

marschiert... Die zweite Kolonne marschiert...), бургомистрова внучка, выпускница ярославского библиотечного техникума с прической, напоминающей горку холодных перепутанных макарон. Мы с нею подружки закадычнее некуда (хотя у нее кадыка нету, а мой опушён голубым косыночным газом) и перекидываемся (она устно, я письменно) с одной стремянки на другую через стеллажный проход о разных женских пустяшностях и городских чудесах. А иногда она мне переводит какую-нибудь ненужную выписку: *Дорогие товарищи!* поздравляет гаулейтер призывников из Фогтланда, Эрцгебирге и окрестностей Эгера с Рождеством Христовым тысяча девятьсот сорок первого года. *Что немцу на пользу, то англичанину смерть. Поэтому для правящей в Англии международной финансовой клики Германия покоя, Германия порядка, Германия труда — это смертельный враг. В первую очередь Германию народного единства и социализма полагает эта клика угрозой своему положению безжалостных эксплуататоров половины земного шара, угрозой своему сытому и развратному будущему. В чем и заключается основная причина нападения на нашу юную Империю. Кто-то сказал однажды: "Англия победит во всех войнах, кроме последней". Эта война — последняя! С товарищеским приветом и хайль Гитлер! Гаулейтер Иоахим барон фон Юденишлюхт.* Другая архивариус, смугло-розовая, будто вечно обожженная (вокруг глаз и на запястьях — до обугленности) Марженка, прикреплена к цинциннатскому Голдстину — шупая ступеньки кроссовочным пуантом, сносит ему с чердака папки — обведенными желтоватым облаком стопками от лобка и до подбородка. Переводить же она отдыхает, потому что голдстиновский по матери дедушка был родом сам с *этих мест* и подучил голенастую Джули по-немецки и чешски. Тогда-еще-внучка прикатила из Гарварда на каникулы, наелась под елкой индейки, пупырчатой, как ракетка для настольного тенниса (не без циклопической канадской клюквы, понятно, — приторно-сладкой и размером с

коктейльные помидорчики), и благовоспитанно отпросилась из-за стола: *забить* в гараже *косячок*... Под верстаком, куда ховала охнарик, обнаружила картонку с желтой бумагой — за два семестра из этой бумаги составила книгу “Джейкоб Кагански — еврей, убивавший евреев. Воспоминания еврейского полицейского из юденшлюхтского гетто” — высший балл по *creative writing* (курс лауреата Пулитцеровской премии Эсперанцы Кавалерист), магистерская и бакалавровая степень по *Modern Jewish history* (курс проф. Бенджамина Джихада), годичный грант фонда поощрения еврейских исследований вдовы Годдес, сто шестьдесят девять тысяч проданных экземпляров в твердой обложке. Раз, когда Марженка случилась в отгуле (упал снег, поясной, надо было разгрести дорожки у замка и окалывать мостик и ступени крыльца, отцу-хаузмайстеру одному было не справиться), мы с Ирмгард, хихикая, как ненормальные, залезли к ней в стол и пролистали голдстиновское стипендионное дело (тут уже я переводила с имперского как могла): на тридцать девятой тысяче дедушка Джейкоб Кагански удавился у себя в гараже — по сообщению “Цинциннати крисчен монитор” от 5.4.1985, иудейским молитвенным ремешком, на двойной затяжной узел привязанным к передней оси синего “бьюика”. При университете почти-уже-не-Джули тем не менее не оставили — в интервью, данном по случаю выхода книги “Нью-Йорк таймс бук ревью”, она обвинила гомосексуалистов и негров в эгоистическом замыкании внутри собственных общин (*реакционное заблуждение, в которое давно уже впали евреи*). *Всякие границы должны быть стерты, заявляла она, всякий человек, вне зависимости от возраста, пола и расы, может — и должен! — стать гомосексуалистом и негром, а не только гомосексуалист или негр. И не при помощи пластической операции или хирургической перемены пола, а исключительно по внебиологическому праву на свободную волю. Тогда человечество перейдет на новый этап развития.*

Западный человек нашего нового времени будет красным зеленым голубым черным евреем-христианином-мусульманином (The new Playboy of the Western World should be a socialist ecological homosexual Afro-American Jewish-Christian-Islamic one!) Пожилые черные и голубые фундаменталисты, охраняя удобство мягких своих пиджаков в просторную клеточку и уютных вечеринок с дурью и джазом, не говоря уже о назначенных сенатскими постановлениями квотах, забаллотировали на факультетском совете чересчур пылкую мисс, и ей ничего не осталось, как сдаться в казенную службу.

А я так думаю, что человек — это двуногое существо с плоскими, широкими ногтями. Таким он и останется. И без перьев.

С ней, то есть с ним, мы встречаемся почти каждый день пополудни, в том единственном на здешние сутки часу, когда острое холодное солнце бывает что прорезается на затененную то одной, то другой скалой площадь, — я по дороге в дешевую “Кафку”, бывшую столовую бывшего рудника им. Клемента Готвальда, он по пути в деликатесный продмаг “Генрих Вернер и Хайнц-Йорген Вондрачек с 1934 года — Французские Сыры и Свинина собственного Воспитания”, бывший кооператив бывшего народного сельхозпредприятия “Юденшлюхтский вперед”, он же бывшая “Гастрономия и Бакалея Каганского”. Минут десять — сто двадцать стоим у пограничной калитки и базарим малёхо о том, о сем, о пятнадцатом — с ним, как и со всяким настоящим американцем, на славу можно поговорить по душам при помощи всего двух маленьких слов: *fine!* и *really?* Две необходимые для такого разговора каталожные карточки у меня всегда под рукой, в правом кармане юбки — залоснились уже, по краям замахрились, как, впрочем, и весь карман с оттопыром, да и юбка сама; ох, давно уже надо бы съездить с кем-

нибудь из конных евреев типа старика Голоцвана, в *шестерке с третьим двигателем*, что привезла его сюда из Хабаровска, на барахолку в Карловы Вары — купить у цыган новую того же фасона, но только, может быть, с рюшами? Что-то я того старика Голоцвана с неделю уже нигде не видал, что ли уехал куда? Кругло- и гологоловый во вкусе тридцатых годов, как Берия или Будда, в серой льняной паре (ворот рубашки поверх пиджачного), бывший директор биробиджанской лесопилки им. Карла Маркса, человек с интересом ко всему деревянному. Но голубая *шестерка* его как стояла — у зоомагазина “Хомячий Рай” (“Hamster-Paradies”), недавно открытого четырьмя веселыми чурками в бывшем участке гэдээровской народной полиции, — так и стоит. Рядом третий день уже припаркован серебристый фургон с надписью *CNN*.

Джулиен Голдстин, *удалой молодец — герой Запада нашего времени*, симпатизирует мне, потому что он так считает, что я лесбиянка и уже тем на стороне всего светлого и прогрессивного. Потому что: во-первых, если я не лесбиянка, то кто же? А во-вторых, прошлым маем, когда мы проходили — он сюда, я туда — мимо цыганских и славянских девушек в цвету весенних прыщей (начиная от чешской границы они, наподобие черных и розовых цапель полутораного стоят вдоль всех стен в ожидании немецких пенсионеров-дальнобойщиков и десантированных в увольнение колорадских горных стрелков), наблюдательный, как ему и положено, Джулиен Голдстин засек меня, дуру, как я загляделась в одно декольте с особенно взволнованно дрожащими и будто бы переворачивающимися в нем сиськами. Как нежное тесто в медленном миксере. Сам он в такие прорывы и бездны не смотрит, не для того он из прямых тетенок переходил в обратные дяденьки и честно-благородно отказывался от полученной было стипендии “Культурбункера”! — поэтому не узнал, что за чернокожаной пазухой, апплицированной Микки-Маусом, вертелась и билась бурая мышь с

бело-красными от ужаса круглыми глазками — интересное изобретение, если кто понимает, не завести ли и мне *таку цацу*, как говорят — или говорили? — габардиновые Полурабинович и Корольштейн, заслуженные артисты Кабардино-Балкарии. Гонза сдает девушкам дрессированных мышей напрокат, по три немецкие марки за мышедень и пятьдесят марок залога, на случай, если мышь задохнется под сисечной массой.

Из темноты за распахнутой дверью ближнего к моему окну вертолета наставлена прямо в меня двойная прицельная трубка — две ее вертикальные линзы в мои горизонтальные две. Белка ползет вверх по стволу каштана, как ящерица с мохнатым хвостом. В зоомагазине четверо турок склонились над клеткой с хомяком золотым, палестинским. Неужто же я, простой петербургский хазарин Юлик Гольдштейн, увижу сегодня через час, через два Императора всего Запада, Пантократора Свободного Мира Цезаря Августа Принцепса — Светоча Цивилизации, Вечного Двигателя Прогресса, Самого Могуущественного Мужчину на Свете и прочая, прочая, прочая?! В дедушкин трофейный бинокль “Карл-Цейс-Йена” со шкалой расстояний в виде перевернутой буквы Т из мельчайшей цифири (про который покойная нянька моя, баба Катя, таинственно говорила, что-де там, где-то под колесиком резкости, такая есть немецкая тайная кнопочка — нажмешь на нее и все, что на прицел насеклось, вдруг задымится, коротко вспыхнет и испарится навеки — *чтоб и трогать не вздумал!*) Снилось ли мне такое лет двадцать пять назад в Скифопарфии, в отставной каменной ставке ее обессилевших от старости ханов, на уроке труда у Тимофей-Михалыча Заяичко, где я (в сатиновом синем халате поверх мышастого пиджачка) резал и гнул из бронетанковой стали совок? Или снится сейчас?

ГЛАВА 6

ВОЙНА СТАРИКОВ И ДЕТЕЙ

В которой из башен к сорок пятому году размещалась особая группа СС “Бумеранг” с раввинами и глиняным куском, в моей новодельной или же в настоящей голдстиновской? а в какой самоуправление юденшлюхтского гетто? — объединенный архив не дает ответа на поданный для блезиру запрос. Не полностью еще каталогизировали единицы хранения, нанесенные из трех единичных хранилищ. Разные маркировки, разные языки, включая мертвые, черт ногу сломит, одним словом. Прекрасная Ирмгард нашла мне (на абонемента у Голдсти-на) какие-то сушие пустяки: письмо обер-фельдфебеля горноегерской дивизии Алоиза-Венцеля Шварценеггера от 9.11.1943, послано брату в Обер-Венден-Йох (в Каринтии, на границе с Италией и Словенией) и возвращено 13. 8.1968 по адресу полевой почты за выбытием адресата. *Сраное местечко, Ксаверль, жаловался обер-фельдфебель, все заросло копотью, с утра до вечера сумерки, то снег с дождем, то дождь со снегом, а таких нелюбезных и неразговорчивых жителей не видал я ни во Франции, ни на*

Кавказе, и ни даже в Берлине. Далее следовали догадки насчет того, какого роду-племени эти нелюбезные жители — не немцы, *это самоочевидно!* — не чехи шкодливые, но и никак не цыгане. *Цыган-то мы наизусть знаем.* То ли венгры, то ли турки, то ли слегка подошедшее ростом потомство богемских гномов-гранильщиков, *помнишь, в детстве нам читывал батюшка из неизвестного автора “Лорелеи”, как они на празднике деревенском каком-то в пух и прах разругались с людьми?* Жителей этих по окрестным хуторам упорно дразнят евреями, но доказательств никаких не приводят. Сводят, может, свои местные счета: козу там не поделили или колодец, *как, помнишь, батюшка наш, господин учитель — со словенцами из Нидер-Венден-Йоха,* или у них вообще кровная месть от начала времен. Гаулейтер, ввиду нестихающего потока сигналов граждан, послал научный запрос по партлинии, из Берлина командировали профессора расовой гигиены, тот ходил-ходил, мерил штангенциркулем уши, черепа и носы и высказался, наконец, в том смысле, что евреи ли и какого рода евреи, если евреи, заключить затрудняется. *Тюркско-монгольские элементы и славянская метизация очевидны. У большинства мужчин монголоидный копчик и алтайский тип оволосения.* Берлин пообещал вызвать временно отступившего с войсками из Крыма караимского поэта по имени, если мы с Ирмгард правильно транскрибировали шварценеггеровскую латиницу, *Парис Баклажан,* который уже помогал (в Крыму у себя) проводить научно-расовую экспертизу и отмежевывал еврейских крымчаков-раббанитов от нееврейских караимов, чем заслужил благодарность фюрера и объединенных народов Европы, несущих по миру и особенно на Восток идеалы свободы, культуры и права, каковая миссия была бы несовместима даже с самым незначительным пятнышком на их коллективной совести, *что, братишка (“братское сердце”, — калькой перетаранила*

Ирмгард), *между нами говоря, типичное пруссаческое уморачество (preussische Klugscheisserei) и занудство*. Странное юденшлюхтское племя вывели до окончательного выяснения за систематизацию в качестве этнической группы уточняемой принадлежности, мужчин с монголоидным копчиком мобилизовали на оборонные работы и увезли — *недалеко, но глубоко* (судя по всему, в виду имелся рудник, будущий им. Клемент Готвальда), а в Юденшлюхте остались только женщины (*очень нелюбезные, дают — с трудом*), старики от шестидесяти, дети до тринадцати, горные егеря и *ученые товарищи в черном*, как элегантно намекнул обер-фельдфебель, с особой охраной — по взводу из дивизий СС “Кавказ” (чеченцы) и “Карл Великий” (французы).

Интересно, почему со времен Гая Юлия Кеннеди ни одного императора ни разу еще не убили, наверняка же многих хотелось?

Все бы с Ирмгард-подругой-боевой хорошо: она и веселая, и добрая она, и богатая телом, и переводит мне всякую всячину, чего ни захочешь, хотя бы и местную хронику из “Юденшлюхтер нахрихтен” и “Жидовскоужлабинских новин” (*Куница перекусила кабель распределителя зажигания у машины 2-на бургомистра и Городское бюро по трудоустройству извещает гражданок Чешской Республики, что продолжается выдача направлений на предприятия индивидуального обслуживания. Подмыться и иметь при себе медицинскую справку*), и даже подарила на день рожденья искусственный член; если бы только не истории эти ее вечные, куда она ездила в отпуск (уже четыре раза, считая от падения погранзабора, — на Мальёрку) и как ее там стояла местных чучмеков очередь трахать. *Девичьи секреты* выделяются из нее безостановочно. У меня для поддержания такого разговора пригото-

лены карточки *А ты ему?*, *А он тебе?* и *Козел вонючий, ва-аще!* Ярославское общежитие до такой глубины посвятило Ирмгард (сама она зовет себя Ирккой) в мистериальный эллинизм русской речи, что она даже понимает, что “вонючий козел” и “козел вонючий” суть два совершенно по своей природе отдельных животных — различие, рядовому иностранцу практически недоступное. Разве что иностранцу-майору. И матюкается она хорошо и существенно, не как еврейский инженер на овощебазе, повторяющий холуйски одни и те же три с половиной лексемы, подслушанные у местного грузчика (который и сам спившийся инженер, подслушавший их когда-то у другого грузчика, который и сам спившийся инженер, подслушавший их у еще одного грузчика...), нет, у нее настоящая ярославская выучка, ярославское же сквернословие — самое прекрасное и срамное во всей Великой, Малой и Белой, не знаю уж как Червонной Руси; баба Катя, покойная нянька моя, была из Ярославской области родом и загибала над моей колыбелью в 72 слова, от бога, души и матери до *страхопиздища залупоглазого и мудозаправочного гондолета* — то, говорила, был якобы *Малый Петровский*, то есть Петра Великого, *загиб*, что, конечно, навряд ли. “Загибашь, Катерина, — говорил ей на кухне бывший матрос с крейсера “Киров”, а позже коммунальный сосед и капитан КГБ по хозяйности и материально-техническому снабжению Борис Петрович Горносталя и показывал черноволосый указательный палец крючочком. — На, разогни”. И кашлял-смеялся, с дымящейся кастрюлькой уходя к себе в три на полтора с квадратным окошком, дико выглядывающим из брандмауэра. *Великий Петровский загиб* на 213 слов считается безвозвратно утерянным, но, по отдельному мнению Горносталя, сохраняется вместе с Белым и Червонным загибами где-то в потаенной Сибири, а то и в лесах под Череповцом и в конце времен явится: с ним пойдет в по-

следнюю битву скифопарфянское воинство, самопальный калаш на руке, его прорычат, разрывая небо, укаченные из Музея севастопольской обороны катюши — стальные органы, хазарская конница его завизжит, пригибаясь к заплетенной косичками холке, — и содрогнется враг, и рассеется. Кстати, ошибаются полагающие, что сутулость еврейская происходит от тысячелетий, наклоненных над священными книгами, — еврейская сутулость происходит от пригибания к холке летящей хазарской лошади. Моя, по крайней мере. Отсюда же маленькая, криволежащая на яйцах пипочка, не мешающая скачке и вольтижировке. Я положил ее через юбку на теплый искусственно-мраморный подоконник, рядом с пепельницей и ростком авокадо в стакане — пусть отдыхает.

ГЛАВА 7

АМЕРИКА, КОТОРАЯ ВСЮДУ

В трех разных местах вспыхивают на площади беззвучные бенгальские выхлопы. Оркестр со втянутыми щеками и протянутым ртом выдохнул свой безьюбераллесный юбераллес и обмер, одни лишь вертолеты — три штуки болотно-пятнистых — ровно дудят: скрежещут мерно, прихлопывают лопастями, обмениваются наверху круглым ветром. Девки, теснясь задом, сминают шеренгу, бургомистры вздрогнули и оглянулись — один налево, другой направо, их выкаченные к рукопожатию пальцы обвисли. Фейерверк там они репетируют, что ли? Почему такой маленький и такой низкий?

Искры рассеялись, опали, погасли — сделались видны три фигурки в пятнистых козырчатых шлемах: по-рыцарски преклонили колено, у наклоненных лиц отведенные забрала с окошками, каждая фигура в своем отдельном дыму темнее и гуще общеплощадного тумана: ясное дело — заваривают на площади канализационные люки, и чешский, и оба немецких. Над головами их покачиваются концы вертолетных суставчатых лестниц. Наверня-

ка императорская безопасность прознала об извилистых полостях, о сложных ходах, о таинственных шахтах в Юденшлюхтской горе, о гномах-гранильщиках в шапочках желтых, зеленых и красных и о том, что они могут изпод площади вылезти с молотками, зубилами и тесалами и ринуться на Императора, вереща. Старое хмурое племя, недоброжелательное к людям с их младенческой жизнерадостностью. Удержать же их не удержит ни одно оцепление, тем более преторианская гвардия, составленная из двухметровых вольноотпущенников как баклажанного, так и кабачкового цвета, потому что, метр с кисточкой и прыгучие, как мячи, они прокатываются у гигантов под рукой и между коленей, а затем в прыжке с разворотом вгоняют зубило в крестец или же в почку — одним-единственным махом молота. Так был ими в рунической древности изведен великан или, быть может, даже хтонический бог по имени Ризенмаулькарльхен или — в славянском изводе — Карел-Толстомордик, о чем извещает “Рудногорская старина” за июль-август-сентябрь 1881 г. ...Одновременно, как по команде — а и скорее всего по команде — сверху?! — сварщики забирают лица щитками, из мостовой опять иссекаются одновременные голубые снопы. ...На диване Голдстина нет. Компьютер его раскрытый лежит, мигает голубеньким над начатой строчкой *Thereunder it would be proposed*, а самого Голдстина нет, и во всей студии нет его, как никогда не бывало. Кухня мне тоже видна, никелированная ниша в углу, — нету и в кухне. Отошел, вероятная вещь, по нужде — сортира, несколько странно называемого по-немецки *аборт*, — там, в глубине коридора с заворотом в прихожую, мне отсюда никак не достать. Краешек двери с фарфоровым поросенком на ниточке — и только. А и доставал бы, все равно бы смотреть бы не стал — я уже видал один раз, как люди какают, лет двадцать восемь назад, в пионерском лагере краснознаменного завода “Ви-

братор” под Стрельной: Люся Драйцун из второго отряда присела на корточки в дощатой уборной сальмонеллезного изолятора и какала, свесив тонкие кисти с коленок, наклонив на плечо умную голову с хвостиком и страдальчески закусив галстук, — ровным счетом ничего интересного: одно журчанье и вздохи. Труха из междосочной щели налетела мне в нос, я чихнул. Люся Драйцун вздрогнула (ее и так круглые курьи глаза округлились еще пуще), но остановить себя не сумела.

Зеленоватой электрической ночью, втекающей в студию из бойницы, в качкой и гулко-отзвонной стипендионной постельке, под шелканье и щебетанье ангелов безмянных в темнооблачных кущах (пльвших себе, пльвших на северо-запад с юго-востока да и наколовшихся на двойную вершину Юденшлюхтской горы), под косые росчерки молний (не Бог ли и Сатана нагнулись кучевыми исполинами темными над сердцевиной пустотелой Европы: режутся *в ножички?*), я думаю об Америке, которая всюду, и от жжения в переносице и от щекота в сердце мне не уснуть до зари. Что за дивные, хвостатые мысли распускаются у меня в голове! —

Защитные мероприятия русских против Запада: 1) ни в коем случае не петь им цыганские песни, “Из-за острова на стрежень”, “Катюшу”, конечно, но в особенности — “Раскинулось море широко”, 2) ни при каких обстоятельствах не показывать амбивалентности русской души, в т. ч. не обнимать двух бездн одновременно, 3) не пить водки, не вешаться и не целоваться в слезах на морозе, 4) делать же все это украдкой, когда Запад не видит.

* * *

Если бы придворные евнухи не убили Мэрилин Монро отравленной клизмой, то ей бы пришлось отдаваться пооче-

редно всем цезарям, какие там только бывали, включая сюда и текущего. Дюжие нубийцы-вольноотпущенники ее бы ввозили в Овальный кабинет, по овалу обставленный гвардией, ввозили на злаченой и яхонтами разными усыпанной инвалидной колясочке; Принцепс, стиснув в улыбку острые зубы, с приложенной к цементной прическе ладонью без линий быстро бы шел к хохочущей пьяной старухе. Белая марля взлетала бы на бьющей от изножья коляски пневматической струйке, открывала бы мучнистые ляжки, мученически натекшие на резинки телесного цвета чулок.

* * *

Литература какого-либо народа, например русского, в отборных своих проявлениях — в Гоголях, Достоевских, Толстых — создает у этого народа особый род паранойи, ведь в коллизиях ее и в ее персонажах концентрируется все самое нехарактерное, т. е. наименее свойственное среднестатистической массе этого народа и его среднестатистической жизни, сам же народ с течением времени становится совершенно уверен, что вот такой он и есть, в своих отборных или, скажем так: в экстремальных своих проявлениях. Т. е. видит себя таким, каким его нет, никогда не было и быть не могло. Не то американцы — у них нет паранойи.

* * *

Извращение: я люблю кока-колу такой, какой ее остальное человечество ненавидит — теплой и выдохшейся. Я живу среди них, я мну их газеты, смотрю калейдоскопы их попережно-кабельных бесенят в телевизоре, пью кока-колу, ношу колготки (звиняйте, пане Полурабиновичу — колготки) и лифчики ихнего производства — я у них вдвойне малый народ, и как еврей, и как русская. Втройне — еще как безлошадный хазарин.

* * *

Америка — страна чудес. Там негры жопой режут лес etc.

* * *

Переход Америки от поздней республики к ранней империи примерно обозначается переходом от призывной армии к наемной.

* * *

Подсознания у американцев нет и никогда не было. У европейцев оно было, с конца XIX века до середины двадцатых годов, потом его начисто вылечили. Психоаналитики во всем мире занимаются только тем, что конструируют и вживляют пациентам искусственное подсознание. В сущности, речь идет о пластической хирургии.

* * *

Раньше я думал: американцы — инопланетяне, и за Океаном, за круговую рекой, никакой такой Америки нет (покуда со звоном в ушах мы опускаем мокрые спинки, и отстегиваем пристежные ремни, и искоса по-собачьи поглядываем на тележку с вакуумно запаянной пайкой, движимую пневматической силой накрахмаленных стюардесских сисек, самолеты уходят, незаметно и для нас, и для пилотов, спящих у рогатых рулей, и для подмахивающих по проходу стюардесс — уходят в открытый Белкой, Стрелкой и Гагариным космос, в мерцание крупных американских звезд и мелькание бледных американских полос, а приземляются уже там, на планете другой). Но теперь я думаю так: американцы — все же не инопланетяне отнюдь, а дети, вернее, подростки. Причем не в переносном смысле, а в совершенно прямом — возраст их просто останавливается на че-

тырнадцати-шестнадцати годах. Победили учителей и родителей и живут уже два с лишним века сами, методом дворового самоуправления. Это доказывается всеми основами их национальной культуры и психологии — и самоорганизацией общества на основе законов уличной шпани (кто жил в Веселом Поселке, их знает), и любовью к гуляньям с флажками и шариками, к парадам и к военным играм, и тяготением к страшилкам и кино про войнушку, и приверженностью к сладкой и острой пище без косточек (а есть ее лучше всего без ножа и без вилки — руками в цыпках-царапках), и интересом подсматривать за взрослыми голыми женщинами, и на взрыде переживаемой проблематикой “кто лучше: мальчики или девочки”, и безоглядной борьбой с прыщами, а также за мускулистость и худобу, да и общим значением физкультурных успехов и формы прикида для социального статуса особи.

* * *

И многим, многим другим.

САТИРА ВТОРАЯ
АПРЕЛЬ
ДЕВЯНОСТО ТРЕТЬЕГО

Давно Россиею затоплен Петербург.

Е. Шварц. Черная пасха

ГЛАВА 8

ТРАУР ПО КИТАЙСКОЙ ИМПЕРАТРИЦЕ

“Христос воскрес”, — сказал пулковский пограничник и привставая потянулся своим лицом к моему — из утыканной мимозами будочки. Фуражка его, видимо для удобства христосования, была двинута на затылок, из-под козырька по-казачьи вылезли сухенький чубчик. Я укололся щекою об ус, пахший чем-то сложно-мужским, полушерстяным и казарменным, и сказал: “Спасибо, и вам того же”. Погранец усел вглубь будки, вывернул мне паспорт бывшим гербом вниз и с молниеносностью, едва уловимой для зрения, отковырнул освобожденной рукой. И неожиданно сухо заметил: “Давно вы дома не были, Юлий Яковлевич. Полтора годика как”. Я кивнул, вышел в Россию, вдохнул затхлый, морозный, пощелкивающий и попукивающий ее воздух (он конденсировался на гландах в продолгие мохнато-тягучие сгустки) и увидел ее народ: теток в расстегнутых пальтах, детей, спящих на никелированных тележках с надписью “Samsung”, дырявые зрачки мужиков, заплаканные скулы солдат, негров, перевязанных во всех направлениях

шарфами, вислоусых поляков над защитного цвета баулами, курящих женщин неопределенного происхождения (некоторые — противоестественно элегантно одеты) и американца Карлушу. Неужели же меня встречает? — мы и видались-то всего один раз в той еще жизни, лет, кажется, десять назад. Карлуша стажировался тогда на истфаке ЛГУ им. Жданова — писал курсовую работу на тему “Был ли Ленин гомосексуалистом”. И по рассмотрении различных источников и тщательно взвешенных про и contra приходил к заключению: нет, не был. Но университетское начальство оказалось несогласно с самой постановкой вопроса и курсовую Карлуше не засчитало. Приходилось с потерянными полугодием катить восвояси, в городок Фифроум, Коннектикут, где по субботам моют с земляничным мылом проезжую часть перед сахарным домом и подобные вещи понимают без юмора, на что он тогда горько и жаловался, прибавляя, что, дескать, и так мало-мальски приличной службы не сыщешь, да и никакой, собственно, с этой-то блядской профессией, а тут еще это. “Придется, не иначе, идти в ЦРУ. Там всех берут”. Хозяйка сокрушенно-иронически кивала седыми полумесяцами поверх гладких щек и, как было тогда принято, всепонимающе приговаривала: “Кафка! Кафка!” Бог лишил Карлушу двух вещей — ума и фаса, все остальное было при нем, в первую очередь профиль, из которого он состоял. За десять лет фаса у него не прибавилось, а вот профиль сильно вырос и сделался хоть и тупей, но увесистей — уже не бритва, но топор. Встречал он, тем не менее, не меня. “Дама, не задерживайте очередь, — звенело за моею спиной. — Если вы дама, так целуйтесь и проходите, а если мужчина, то паспорт не ваш. Я вам русским языком говорю — тут написано фи—мейл”. Я быстро оглянулся: Джулиен Голлстин, бледный, в треуголке, в белом мундире со золотыми погонами и галунами на самых неожиданных местах, в

чернокожих лосинах и в петровских ботфортах со скрежущущими по кафелю чудовишно-зубчатыми колесами шпор, дискутировал гендерную проблематику с пограничницей из соседней кабинки. Карлуша, удобно приспособленный к прорезанию толп, с криком *Американское консульство!* ринулся ему на подмогу.

Но и меня встречали. В больших железных очках на пухлом квадратном лице, в густо-лиловом полупальто из хорошего довоенного драпчика, в вязаной розовой шапке, из ячеек которой вылезали на разные стороны тонкие белые волосы, — но босиком: не пошиты еще сапоги на эти слоновой болезнью вздутые ноги. Или уже не пошиты. “Баба Катя, как же? Ты ж давно умерла”. — “Умярла, не умярла... — сказала баба Катя и коротко взвесила, ошастливливать ли меня окончанием прибаутки или я и так буду хорош. — Умярла, не умярла, только время провяла”. Ярославилла она исключительно по фольклорному случаю, в прочих же высокомерно обходилась скороговоркой старого ленинградского простонародья, полупскопской-полузошенковской. “Полтора года почти! — изумлялся еврей-частник, гоня “Запорожец” по вечернему Московскому проспекту — насквозь пылающих колоннад сталинского заката. — Ну и как вы нашли город? Страх ужаса, точно?” Найти-то как раз было несложно. Меня просто привез аэрофлотовский лайнер, как положено, белоснежный, но как бы обведенный по контурам — внешним и внутренним — осторожной каемочкой грязи. Город не изменился, хуже, во всяком случае, не стал. Может быть, даже несколько лучше — коегде по фасадам подчищенный, подштопанный и подкрашенный. Но — обведенный по контурам, внешним и внутренним, осторожной каемочкой грязи. Она же и у меня под ногтями: то, что баба Катя — пока не умерла — именовала иронически *трауром по китайской императ-*

рице и рекомендовала вычищать при помощи жесткой короткошерстной щеточки. В России эта черно-бурая супесь заползает под ногти вдесятеро быстрее, чем где-либо из известных мне мест, — впрочем, в России я пока еще не был и собираюсь ли ехать, не знал. Дело мое было в — как это теперь называется — а почему бы и нет? — Петербурге. *Петербург-не-Петербург...* Этот город не интересуется людьми, в нем живущими, предоставляя им интересоваться — или не интересоваться — собой. Не для людей он был построен, не для людей живет, а если и мучит их — то единственно своим безразличием. В сущности, ему безразлично и как мы его называем — вероятно, будто у элиотовских кошек, у него имеется собственное, невыговариваемое название для себя, а мы — мы можем его звать как хотим. Боюсь, он вообще воспринимает свое за три четверти века три раза на три четверти переменившееся население, как бегемот какой-нибудь воспринимает некий род насекомых, накожных или подкожных. Не очень терзают — и ладно. Одни стряхнутся — другие появятся. Или не сказать сечевому евротаксисту иначе? — мы для него как невыводимая грязь под ногтями, “траур по китайской императрице”. “Таракан разговорчивый! — с заднего сиденья сердилась на водителя баба Катя. — Ехай, ехай себе!” Но навряд ли он ее слышал, озабоченный попыткой штурмового звена гологлазых шкетов подмыть ему ветровое стекло. На светофоре у Парка Победы — подзаборной водой из кокакольных литровых бутылей. Над его разреженным темнем переливался ало-антрацитовый блеск, маленьким стоячим полукружьем — как бы венчик черноблестящей воды. *Оптика несколько переменялась, думал я. Отблески и тени играют иначе. Закат загустел и прочистился.*

Баба Катя, не оставляя мокрых следов, шлепала в кухне, злобно стучала буфетом, проверяя, не стыбзил ли симво-

лист Цымбалист (пущенный за сто долларов в месяц “пока пожить”) трофейную вазу с Венерой и Купидоном, надколотое кузнецовское блюдо и четыре гладких зеленых фужера с дедушкиным вензелем ЮГ. А я осторожно присел на тахту, запятнанную зачерствевшим Цымбалистовым семенем (то, что у Ирмгард называется *кашка-малашка*), и листал одну за одной старые телефонные книжки. Надо было через кого-то знакомого кого-то сыскать в Этнографическом музее, или в Институте востоковедения, или в Кунсткамере, чтобы попасть в фонды. Четыре месяца тому назад Константин Валерьянович, пражский культур-атташе, кормя меня ужином при свечах и камине в посольской квартире своей, дубовыми панелями и размерами напоминающей Ставку Верховного Главнокомандующего, рассказывал между осетриной по-монастырски и компотом из ревеня, что *согласно наших посольских преданий* глиняный шмат с чердака Староновой был году в сорок восьмом, сорок девятом, распоряжением Берии лично, вывезен в Ленинград и передан мобилизованным МГБ гебраистам — для изучения перспектив его оживления и дальнейшего использования в обороне и народном хозяйстве. Но потом, *ну Вы, Юлий Яклич, сами же знаете, в “Огоньке” об этом писали — в пятьдесят третьем году Сталин умер, цветет в Тбилиси алыча, то да се, пятое-десятое, реорганизация МГБ, проект был за бесперспективностью свернут и все материалы переданы на хранение... в Этнографический музей, кажется. Или в Кунсткамеру.* Баба Катя вошла в комнату, в глухом черном платье с редкими черными блестками, ворот у горла забран пластмассовой брошью с отставившей ногу Улановой. “Жрать будешь, иносранец? — спросила она нелицеприятно. — Я тут у квартиранта твоего картошек нашла”.

ГЛАВА 9

НА ЛУНЕ ВЕТРА НЕТ

Три дня мне встречалась на Невском и около девушка в пестренькой кофте и болотных сапогах до пупа. В какое бы окошко ни всунулся я со своей скромной потребностью в бледновенозном куске “Беломора”, везде уж и она тут как тут — теснит скошенным плечиком, тянет стеклянную уточку на ошпаренной утлой ладони. “Не возьмете, хозяйка, десяточек, по две тысячи?” Хозяйка, сонный кавказец с седыми усами, бормотал нечто вроде *це дило трэба разжувати* и обещался спросить насчет уточек у атамана. Вообще, народонаселение с утра до ночи только и делало, что шуровало по киоскам и лавкам, в рассуждении где бы чего укупить и где бы чего продать. Куда только подевалась эта привычная с детства советская вялость, эта походочка замороженная, эти тухловатые очи, уставленные в тротуар. Все бежали, поворачивая глаза в разные стороны, у некоторых над головами переливались как бы венчики черноблестящей воды. *Пожалуй, никакой на свете народ не имеет склонности к торговле большей, чем русские*, читал я в “Путешествии

по России” ученого датчанина Педера фон Хавена; немецкий перевод, изданный в 1744 году с посвящением голштинскому герцогу, приволокла мне из ратушной библиотеки неугомонная Ирмгард (со словами: “Почитай, рыбка, там смешно про блядей”). *На сей счет русские обладают теми же самыми качествами, что и евреи, да еще и превосходят последних.* На фоне капиталистического энтузиазма простого народа мафиозные структуры производили впечатление чего-то косного, бюрократического, неисправимо совдепского. Ну что ж это, в самом деле, такое — справляться в Грозном, покупать ли у бедной девушки уток! Да еще и новых лимитчиков повезли полный город. Оно, конечно, понятно, каждый ларек требует минимум двух из Тамбова, чтобы его охранять, двух из Ростова, чтобы на них нападать, и одного из Казани, чтобы рассуждать первых четырех по всей блатной справедливости, но, преувеличенно корректные *при исполнении*, в личное время как-то уж слишком уж бурно предавались они, *пацаны*, ребяческой своей жизнерадостности. Страшные, неподвижно подвижные игры потерянных детей без затылка.

Я с утра уходил, оставляя бабу Катю в квартире — она все не говорила, чего ради пришла, я же не спрашивал и тем вызывал ее явное, хотя сдерживаемое неудовольствие. “Конечно, о чем разговаривать с мертвой нянькой! — говорила она в гулкую глубину холодильника “Юрюзань”, изумлявшего ее своею огромностью и припадками яростной дрожи, она ведь оставила этот мир с висящими за окном авоськами, откуда на разные стороны торчали кривые петушиные когти. — Мы теперь такие люди, гамном не докинуть — члены писательские! По заграницам шляемся токо так — пустили Дуньку в Европу!” Весенняя наледь с хрустом лопалась под подошвой, в гортани горел звонкий ветер пополам с беломорным гнилостно-горестным дымом. Река сверкала,

ставши прозрачной и почти голубой, как после войны, — такой я никогда еще и не видел ее. Я шел по Невскому мимо всего, чего не было, даже если оно по отдельности пока еще было, — мимо Менделеевской аптеки (где покупал лет так тридцать тому столбики со скрипом тающей на зубах аскорбинки, пять копеек десять таблеток все вместе в целлофановой красно-прозрачной обертке), мимо элитарной мороженицы “Улыбка” (ферменты американизма среди нас именовали ее значительно *Смайл*), где подавали кисло-сладкий коктейль с “Советским Шампанским” и вишенкой по рубль ноль пять порция, мимо кинотеатра “Художественный”, где я положил нетвердые пальцы на кривоколенную кость, одетую в теплый рубчик (*В джазе*, как всегда, были *только девушки*). Мимо “Электротоваров”, “Овощей—фруктов”, магазина по младенческим нуждам, обиходно именовавшегося “Четыре Моисея” (в четырех его окнах висели четыре толстошеких пластмассовых пупса в корзинках), мимо часовой мастерской, где четыре старых еврея, расходясь во мнениях о природе колесиков, чинили прадедушкины часы “Мозер” (были бабой Катей, вместе с полубархатной подсюртучной жилеткой, найденной в антресолях стрельнинской дачи, постираны на волнистой доске), мимо гостиницы “Балтийская”, куда я заходил навещать одну накатившую из Москвы девушку, *похожую сзади на море* (сейчас бы меня туда, в “Невский палас”, не подпустили на выстрел из “беретты” с глушителем) — к “Сайгону” я шел, на угол Владимирского и Невского, потому что не знал в этом городе никаких других мест встречи — женщина Лиля из Юденшлюхтского замка поручила мне свезти письмецо и сто марок денег младшему брату, *дурошлепу и обалдую*. Я представился ему телефонно говорящим братом немой стипендионной сестрицы, и мы (как лет еще пять-шесть назад я бы свободно сказал, а сегодня не стану) *забили стрелку*.

— Ну и как они там, в Бундесе, — все добивался брат Лили, юноша, небритый до глаз, приплясывая со стороны Владимирского у витрины итальянской сантехники, заменившей сутулые спины в тусклой скифопарфянской одежде (в одной из четырех очередей, к Людмиле Прокофьевне, царственно кофеварящей сиреневой даме в огромных квадратных очках, стоял я), — не говорила ваша сестра? То есть, пардон, может, писала? Или вы на глухом языке?..

Я объяснил, что сестра моя потеряла дар речи недавно, по нервному случаю личной жизни, прочитав в одном гамбургском еженедельнике, что американцы ни на какую Луну не высаживались, а все дело засняли на подземной киностудии в ЦРУ. Поэтому языку жестов она не обучена, учить же его не желает, поскольку ожидает вот-вот разнеметь. Врачи говорят, нужно только чем-нибудь позитивно потрястись. “Как не высаживались? — брат Лили, казалось, тоже сейчас потеряет дар речи. — Это наши нигде не высаживались, а американцы высаживались, я сам видел, в телепрограмме “Взгляд”!” Я пояснил ему, что там у них флаг веет, а откуда на Луне ветер? И звезды на небе расставлены астрономически неверно. А Лиля-сестра с Перманент Яковом Марковичем, мужем ее, в замке живут хорошо, ни в чем не нуждаются, учат язык Гете и Геббельса, а Перманент еще и сочиняет в свободное время художественную биографию Надежды Яковлевны Мандельштам, под названием “Надежда умирает последней”. Моей сестре, как коллега коллеге, он кое-какие пассажи показывал — весьма многообещающее сочинение. “Ну, это мы знаем”, — пробормотал юноша, все еще не в силах отвлечься от мысли о *грандиозной покупке*, по его выражению.

— Яков Маркович просил еще переслать акафисты Иннокентия Таврического, красная книжечка такая с пестрым обрезом, золотисто-красно-сиреневым, в седь-

мом стеллаже от окна, третья полка снизу, между Кафкой и Зошкой, у него на Мориса Тореза. Сестра улетает через неделю, занесите, когда сможете, — нянька наша всегда дома. ...А почему на таком странном месте? У меня вот был один знакомый писатель когда-то, из Москвы, так он себе целью поставил объединить, в художественном смысле, конечно, Кафку и Зошку. И знаете, что вышло? — Кашенко!

Юноша, не будучи москвичом, бонма не просек и рассеянно объяснил, мыслями все еще на безветренной и безамериканской Луне, что шурина его книги расставляет по стоимости. И собрался прощаться — плоской небритой ладонью, свисающей с протянутой несколько мимо руки. Ладонь я взял (была мокровата и не сжималась), но спросил, не знает ли он случайно кого в Кунсткамере или в Этнографическом музее — три дня ищу, не могу ни на кого выйти, все умерли или уехали. Брат Лили посмотрел на меня, но тоже несколько мимо, своими небритыми, но однако же — наверное, в женщину Лилию пошел — коровьими отчасти глазами и сообщил, кивая, что работает в Кунсткамере бабушкой по скользящему графику, заодно пишет там же диплом как заочник истфака. — А что?

ГЛАВА 10

СУДЬБА ИНТЕЛЛИГЕНТА В РОССИИ

Выходя в половине первого ночи со двора знаменитой руины на Пушкинской улице, 10, — скваттерского дома, захваченного мрачными художниками, деловитыми музыкантами и какими-то полукультурными офисами с неизвестными политической географии подданствами, — я еще издали, из-за ящиков и стремянок второго двора, заметил странную тень наподобие смерти с косой — в проеме уличной подворотни. Но выход был только один, не оставаться же на ночь в пахнущем крысами, красками и пеленками доме, за чашкой разведенного взмыленно-синего спирта обсуждая с бородами, очками и лобными складками судьбу интеллигента в России. Все говорят *судьба интеллигента в России, судьба интеллигента в России*, а что такое судьба интеллигента в России? Судьба интеллигента в России есть пожизненная борьба с мужским родом кофе, бессмысленная и беспощадная. Когда в словарях появится “*кофе, ср.*”, судьба интеллигента в России закончится. Тогда я вернусь на-совсем.

Острая тень, косо лежащая на асфальте — как бы тень от тени, — размеренно совершала полукруговые движения, будто и вправду косила, но мнимый скелет (или, как в бабы-Катином телевизоре стала выражаться милицейская хроника, *скелетированный труп*) оказался, приподняв голову на мое приближение, доходягой с метлой (и с косою, конечно, но на затылке — таким бывшим геральдическим колосом, торчащим из-под проеденной ядовитым фонарным свеченьем коленкоровой шляпы). “А, Юлик, здорово, — сказал скелетированный. — Вот, я тебе уёв штучки две-три еще должен, квартплатных — как раз зарабатываю”. И вновь принялся подметать заповеданный ему участок панели, с усердием показательным, но, похоже, неложным. Нет, новый строй не так уж и слаб, как это кажется западной прессе, если удалось ему даже символиста Цымбалиста заставить работать. Советская власть как ни старалась, прилагая всю мощь своих межконтинентальных ракет, десяти тысяч писательских членов, двух с половиной телевизионных программ, мелькающих по ночным проспектам *синеглазок* патрульных и враскачку марширующих добровольных народных дружин, но так и не добилась от Цымбалиста ничего, что хотела, — на этом и рухнула. А всего-то и надо было, как оказалось, — закрыть навеки “Сайгон”, где неизбежно находился знакомый (а также полу- и не-), выставляемый — *как нефиг делать, старичок!* — на маленький двойной от Людмилы Прокофьевны, на слоеный пирожок с мясом, пугали, что нутрии (или же загадочной помеси хорька с норкой, выведенной пограничными селекционерами на острове Итуруп Курильской гряды и талантливо наименованной *хонорик*), на волнистую трубочку со взбитым яичным белком, а то и на пятьдесят грамм коньяку *гурзонский три звездочки* в сумрачном левом кармане с видом на Невский, отведенном для литейных книжных жучков, пьющих литературоведов с портфелями и бредущих со службы старших науч-

ных сотрудников Ленгортопа и Леноблхлопа. Теперь все они умерли, или уехали, или покупают сантехнику итальянскую за живые уи.

Баба Катя — прямая, вздутые белые руки на неподвижных коленях, босые ноги на небрежно помытом полу — сидела посередине комнаты на вынесенном из кладовки *своем* табурете и свысока глядела спектакль с народной артисткой Гоголевой, похожей на старого гениального бульдога. Застала ли еще баба Катя телеприемник КВН, его заполненную зеленоватой водой линзу? — во всяком случае, “Радугу” нашу со склонностью к кислотным тонам включать она наловчилась безо всяких вопросов, может, у них там, где бы она ни была, все им показывают и вообще держат в курсе прогресса? “Приходил такой... Шерстяной... Пакет кинул, там, на вешалке. Есть будешь?” — “Спасибо, баба Катя, я в гостях поел”. — “И попил”, — добавила она без осуждения, но с горечью, как будто я действительно какая-то *теребень кабацкая* стал. Ну, рюмку-другую пакостно отдающей сырым сеном *бехерówki* (до нее большая охотница юденшлюхтская Ирмагарт — *ну чо, деушки, чо ли закапаемся по случаю окончания рабочего дня?* Марженка вздыхает и прислоняется смуглой щекою к отбеленному картой рек выгибу кисти). Ну, пива стакан под бледные кнедлики в “Кафке”, хранящей пока еще скатерочки запятнанные, бледно-клетчатые на круглых одноногих столах и швейковско-столовскую кухню. Ну, спирта, настоянного на рогах марала, в замке со стариком Голоцваном глоток. (“Для давления, Нюсенька, по чуть-чуть... и от потенции помогает!” — “Это Юлии Яковлевне, конечно, острожизненно необходимо. Слушал бы себя, Семен, что несешь...”) Вот видела бы меня баба Катя лет эдак двадцать-пятнадцать назад, с *семьсот семьдесят седьмым* или *тридцать третьим* на заплеванных лестницах незнакомых домов, на подоконниках школьных уборных, в пар-

ках и скверах под сонно перелистывающейся сенью деревьев или на стадионе имени Кирова с болгарским оплетенным фугасом в портфеле (“Зенит” опять проиграл — *Левина-Когана нет*, вздыхали мастеровые старики с верхнего ряда и пронзительно кашляли: *лысого бы сюда, или Бурчалкина Леву*, но Левина-Когана и Бурчалкина не было, по полю, поддерживая руками поясницу, ходили Хромченков, Редкоус и Гребеножко — фамилии, придуманные не мной и не Гоголем), а позже в косоугольных общежитских светелках: запивая постными щами, задыхающимися дымной капустой, и косясь на ситчики в кислотных цветах, халатно отлегающие от лядвий, полных хохлацкого молока и башкирского меда... ..А может статья, и видела, кто же ее знает?

Беззвучно прошла мимо меня из комнаты в кухню. Приостановилась, будто что-то хотела сказать, — не сказала, прошла. Живет тут рядом со мной, ходит туда-сюда, из комнаты в кухню, безулыбчивая, вокруг скудной кички облачно-белоголовая, строго-пухляя, пузатая, прямая, какой и всегда была, но незнакомая, точно чужая. А может, она и не баба Катя совсем, а некто иной? Что я помню о ней? — смазанные осколки, наплывы в замутненном рапиде, гложущие слова прибауток, да и те больше рассказаны, чем увидены или услышаны: меня вынимают за подмышки из ванны, я луплю от себя ногами как еду на велосипеде, *голоногий голеган десять девок залягал*, сухо говорит баба Катя, отстраняясь от брызг и пинков, — а мне слышится: *хулиган залягал*, и я обижаюсь. Или велит нарядить в матросский костюм, собственной толстозубой расческой вычешет локоны из-под бескозырки “Аврора”, крупно чтоб загибались наверх, и ведет: по Литейному к детскому фотоателье на Некрасова, останавливая взглядом трамваи. Или когда ее хоронить возили.

Многоуважаемый Юлий Яковлевич!

По Вашей просьбе я попытался навести справки о поступившем в 1953 г. от Института востоковедения АН СССР экспонате. Действительно, такое поступление зарегистрировано, и шифр единицы хранения указан. Но не спешите раньше времени радоваться — соответствующего шифру предмета в записках не нашлось, хотя я, поменявшись дежурством, и проискал почти всю ночь напролет (был бабушкой — стал дедушкой) во всех возможных и невозможных углах. Архивное дело тоже куда-то исчезло. Но не спешите расстраиваться раньше времени: если все кончилось плохо, это не означает, что все вообще кончилось, — все еще может оказаться значительно хуже, как сказано в одном старинном мультфильме. Наутро, с помощью немецкой шоколадки “Aeroluft” (типа нашего бывшего пористого, только тот был лучше — пышнее и горше) и разговора с секретаршей зам. по науке Идой Мартовной о внуках в Новой Зеландии (представляете, там коровам отрезают хвосты, чтобы они не отвлекались на битье мух, которых в Новой Зеландии все равно нет, и всю сэкономленную энергию направляли в повышение мясо-молочности), я разузнал, где находятся интересующий Вас объект и архивное дело к нему. Не далее, оказывается, как позавчера появились в музее двое американцев каких-то, а с ними пиджачная дама из городского отдела культуры. Заперлись с замом по науке у него в кабинете, оформили пожертвование размером 10 000 ам. долларов от независимого фонда вдовы Годдес (Нью-Йорк) на возрождение музейного дела в Санкт-Петербурге, а сколько наличными нашелестело, Ида Мартовна из-за двери достоверно не слышала. Потом зам. по науке собственноручно оформил заимообразную выдачу “Вашего” экспоната сотруднице Института Центральной Европы и Африки (Цинциннати, США) г-же Дж. Голдстин (хотя никаких сотрудниц там не было, кроме дамы из отдела культуры, одни сплошные сотрудники) на неопределенный срок для научных исследований. В целях укрепления российско-американских научных связей и взаимопонимания между народами.

Не знаю, насколько я Вам помог, дорогой Юлий Яковлевич, но это все, что я смог выяснить.

Прилагаю а) письмо для моей сестры, б) акафисты (но там есть и кондаки!) для ее мужа, в) оттиск моей статьи о капитан-лейтенанте Возницыне в межвузовском сборнике “Религиозно-национальные отношения в России XVIII в.” для Вашего дяди, Якова Николаевича Гольдштейна, трудами которого по моей тематике я много и плодотворно пользовался, г) то же для Вас, с благодарностью за указанное Вами упоминание казни Возницына и “совратившего его” Боруха Лейбовича в сочинении Педера фон Хавена “Путешествие по России”. Я обязательно им воспользуюсь в окончательной редакции моей дипломной работы, в особенности же интереснейшим нижеследующим рассуждением автора (мне переводили не с немецкого издания, которое Вы видели, а с первого датского, имеющегося в университетской библиотеке): “В России <у властей> тем более есть основания следить за этим <т. е. за недопуском евреев в страну>, поскольку замечено, что многие русские в том или ином смысле хорошо к ним, к евреям, относятся. В начале 1726 г. обнаружилось, что многие русские устраивают у себя в подпольях тайные сборища с целью отмечания по субботам еврейского шабаша, равно как и отправления прочих иудейских обрядов. Тот, кому знакомы оба этих народа, без труда установит, что и вообще между русскими и евреями существует заметное сходство”.

Надеюсь, мы останемся с Вами в контакте и после отъезда Вашей сестры на стипендию. Заочный привет ей.

С уважением,

Ваш *Вениамин Я. Язычник.*

P. S. С момента, как мы с Вами встретились у б. “Сайгона”, меня не покидает смутное ощущение, что где-то я Вас (или, м.б., Вашу сестру — похожи Вы с ней?) когда-то уже видел. Может такое быть? В. Я.

ГЛАВА 11

ЗАГОВОР НЯНЕК

“Растекся говнецом по овину, разнылся, разнюнился, пиджачишко на мне старый и хуишко небольшой, смотреть аж противно, — грубо сказала баба Катя, не поворачиваясь от телевизора, где из лиловатых колоннад Кремлевского, кажется, Дворца съездов высеменялись к микрофонам две певицы, похожие на глубоко декольтированных уточек. Шел праздничный пасхальный концерт, и без “В чистом поле веселится и ликует весь народ” на музыку Глинки — слова Кукольника обойтись он, понятное дело, не мог. — Небось ничего твоей калабахе не сделалось. Поехали в Стрельню, к Петровичу, там она, с самого пятьдесят лохматого года”. — “Откуда ты знаешь?” — спросил я бело-паутиный затылок, взбороненный широким черепаховым гребнем, но на дурацкие вопросы он и раньше не отвечал никогда.

“У нас на даче?” — решил я в тридцать шестом трамвае от станции метро “Автовская” доспросить, но баба Катя глядела в паллиативное телевизору окошко и не отзывалась никак. Ее маленькое ухо темнело сквозь

всклокоченный пух, второй подбородок был существенно волевой первого, прямой лоб сер и суров. Трамвай шел, шел, шел, и вышел из новостроек, покрытых золотой паутиной и обведенных императрицыным трауром, и остановился в полях. Лязгнули двери, с притоптыванием и пеньём пошли по проходу цыгане, но, видимо, их удивительно слаженное и громкое *Что за время нынче стало, ни богатых, ни кого* заметно уступало на бабы-Катин слух телевизионному Николаю Сличенко в записи восемьдесят пятого года — не повернулась и к ним. Прочие пассажиры казались того же мнения — еще внимательней стали глядеть в окна. Посмотрел за окошко и я: понизу тонко сверкала слюда, посередине прозрачно чернели леса, поверху холодно и пронзительно голубело. Наша дача была вовсе не наша, а проданная бывшему по коммунальной квартире соседу Горносталю Борису Петровичу, когда дед, вследствие каких-то неприятностей на работе и вытекающей из них неотвратимой посадки, ушел из дому неизвестно куда и воротился лет через десять (и мне было столько же) — поменять белье, сходить, ко всеобщему удивлению, в синагогу и умереть. Я был там раз, с родителями на горносталевском семидесятипятилетии — *посмотри, Юлик, вот здесь ты пошел*. Почему в кабачках? Цыгане истомленно дощелкали пальцами до нашего ряда, внезапно все смолкли, остановились кто где шелкал и, глухо притоптывая и прискрипывая, стали пронзительно глядеть на нас с бабой Катей гладкими блестящими глазами — как чучела зубчатоклювых соколов и ястребиных орлов со шкафа в кабинете биологии. “Погадать? — наконец баба Катя отвернула голову от окна. — А чем платить будете, египетцы? Бесплатное, сами знаете, не сбывается”. Старший цыган в малиново блестящем костюме при шейном черно-атласном платке, надушенном “Шипром” и до газообразности взбитом, высказался в том смысле, что областное управление культу-

ры четвертый месяц задерживает зарплату, а в общественном транспорте подают не очень чтобы как. “После войны лучше подавали”, — встряла из-за его плеча усатая изо всех бородавок старуха, покрытая шалью, как раввин. “Подождите, пожалуйста, Рахиль Соломоновна, — остановил ее цыганский вожак. — А может, вам спеть? “Железнодорожную попутную песню” хотите, на музыку Глинки?” — и народ уже было собрался развеселиться и возликовать накрашенными, усатыми и накрашенными усатыми ртами, но баба Катя слегка подобрала под скулу щеку — и цыганские рты разом захлопнулись. “Юбочоночку вон ту аленькую, с карманáми, мальчонке моему... — она покосилась на меня иронически — ...для жены”. Одна из певиц бесстрашно махнула от пояса алым и осталась в потянутых на коленках, выцветших синих, уходящих резинками в клювастые концертные туфли трениках. Алое, нагретое, пахнущее сухими дрожжами повисло у меня на лице. “Так, понимаю, — говорил предводитель, глядя бабе Кате в угол глаза. — Понимаю. Ну, ничего не попишешь. А потом? Ну, слава те, Господи! Пойдемте, товарищи. Пойдите, с каким котом?” Но одичалый хор с “Железнодорожной” на усатых устах уже тек по проходу дальше, к передней двери трамвая, и влек его за собой. “Ну чего, сам уже знаешь теперь?” — баба Катя опять смотрела в окно. И я действительно знал уже сам — *но сначала тридцатые годы*, сказало у меня в голове.

Что всплывет, когда скажут *тридцатые годы*? Пронзительное солнце широких проспектов? Неестественный простор водохранилищ (а они и сейчас — неважно, когда построены, неважно в какой даже неважной стране, пусть и в нежных прованских горах, — несут на себе оттенок чего-то монументального, сталинского, лагерного и ударного)? Что еще? — Милиционер в белом кителе орудует на пустынном перекрестке жезлом? Разно-

цветные газировки в афинском киоске? Панамки, чемоданы, велосипеды? *Муля, не нервируй меня?* Кино, одним словом. А за этим однословным кино, за разошедшимся гипсом экранного полотна — ну конечно же, допры, допросы, этапы, знаем, слышали, только вот картинки, те всплывут вряд ли: нету такого кино, не сняли — и не снимут уже никогда. Но шаг с проспекта — в темный лиговский закоулок, в деготную коммунальную вонь, в проходной селедочный двор, к вокзальной рюмочной с заплеванным шахматным полом, где топчутся безумцы, скитальцы, мелкие шпаненыши в кепках, бутылочные старухи, пропитые дешевки по имени Ада и Рая — дед мой простоял десять лет среди них, отвернувшись от окна, — вот это мы пока еще можем, все это и при нас гляделось более-менее так же. Баба Катя, как приехала в тридцать втором году из-под Углича в вагоне антоновских яблок для Василеостровского колхозного рынка, ночевала месяца два на Смоленском кладбище, в районе примерно тогдашней могилы Блока, потом по объявлению в “Красной газете” нанялась *нянькать* отцова младшего брата. Отца дед назвал Яковом в честь товарища Свёрдлова, а дядю, как бабушка ни сопротивлялась, — Яхудом по брошенному на самаркандский базар со снятой кожей и вставленными в глазницы яйцами комэску в отряде коннобухарских евреев, зачищавших барханы от басмаческих духов, — перед аспирантурой восточного отделения дед с полгода у него комиссарил, поскольку, кроме древнееврейского и арабского, знал фарси и пулемет Максима. Имечком своим дядя был всегда недоволен, жаловался, что в школе его дразнят якутом (ну, да он и узкоглаз, и желтоват, и в нижней части ушей лопух, как *ныне дикой*, — финские лопари-самоеды в университете Рованиемском, где он нынче на ставке, держат его небось за национальный кадр — свой), а когда в обществе “Знание” стал читать лекции, переделался — позже и

паспортно — из Яхуда Нахумовича в Якова Николаевича, а то-де в *Лодейном Поле на комбинате искусственных волокон им. Свердлова ни одной сучильнице и ни одной волочильнице такого имени-отчества без смеха не выговорить. А как же им задавать вопросы по международному положению? Хохоха?*

— Яшка-вирусный! — заметила баба Катя с неизвестно откуда взявшимся у ней знаньем *блатной музыки*. — Моя вина — кружной человек, перевернутый.

Вернувшись из Азии, дед получил в камергерском доме по Колокольной, 11, комнату 33 метра с двумя печками и карманом для бабы Кати, выгороженным бухарским ковром — от Академии наук. Дом был (и есть — я сходил поглядеть) облицован таким количеством желтых, зеленых и синих изразцов, что в уличном обиходе именовался не иначе как *красивым*: “Будто из Самарканда не уезжал”, — говорил дед, поводя на это великолепье бровями, как бы еще запорошенными красноватым песком. С будущим профессором перевернутым рованиемским, вирусным Яшкой баба Катя ходила гулять во Владимирском садике сидя. На заигрыванья красноармейцев она не реагировала, ибо держала их за *мелюзгу тонкохуйчатую с обтруханной мотней*, со старшими же коллегами — интеллигентными няньками в панамках с хозяйкиной головы, а если и в полушалках, то не деревенских из мышей шерсти, а фабричных, полосато-волосато-кошачьих, а которые помоложе — соломенно-простоволосые, новомодно постриженные в комсоставских и академических парикмахерских — обсуждала профессиональные темы охотно. “Чего-то не пердит у тебя жидененок, Катерина Семеновна. Рыгать рыгает, а пердеть не пердит”. — “Запердит, — с прирожденной авторитетностью отвечала юная баба Катя. — Как опишется — так и припёрднет.

Поссать не пёрднуть — как свадьба без гармошки”. К горю с его невероятной, несоразмерной человеческому телу шириной, съедающей его высоту, и с его коварной для материкового уроженца всесторонней и внезапной конечностью (куда ни пойдешь, упруешься в какую-нибудь быстро-медленную темно-ртутную воду) она скоро привыкла, или не позволила себе не привыкнуть, только запахи еще долго смущали ее — сырой солоноватый ветер, покрытый сладковатой керосиновой пленкой и подстегнутый горьковатой гарью сжигаемого мусора. Когда шла корюшка, баба Катя почти что заболела и к ужасу соседей на долгие часы запиралась в коммунальную ванную — оттираться от этого запаха. Соседи собирали на кухне собрание, где ставили вопрос не о бабе Кате, поскольку боялись подергивания ее щеки и скользконадменного взгляда, а о бабушке с дедом. Защищал их один только Борис Горносталь, но зато ответственный съемщик и из органов человек: “Женщинам, — разъяснял он, — мыться надо чаще, чем мужчинам, потому что женщины пахнут рыбой. А мужчины — мясом”. Но все это уже было, конечно, попозже. Гораздо позже, после войны. После финской, после Отечественной и после японской.

Там, во Владимирском садике, бабу Катю приняли в тайное общество нянек, целью которого было поголовное крещение нянькаемых жиденят. Крестить ходили вечерами во Владимирский собор, точнее, в угольный подвал угловой колокольни. Там был священник один, отец Марк, кареглазый красавец лет тридцати (шепотом говорили: незаконнорожденный сын Кагановича), он ставил доверенных дяконов с папиросами ко входу на шухер и ускоренно совершал таинство. Вслед за тем, как на вдавленный сморщенный лоб или на еще не заросшее темя упало тягучее миро, из него выходил и полукружьем

вставал надо лбом пожизненный темно-сверкающий блеск, как бы венчик темноблестящей воды, никакому человеку не видимый, кроме меня и бабы Кати сейчас. “Это борьба была у вас, баба Катя, да? С Советами или только с евреями? Так ненавидели?” — “Совсем дурачок или представляешься? — баба Катя поглядела на меня с сожалением, которого лучше не надо. — Мы, няньки, за советскую власть хошь кого разнесли бы на говенные крохи — была наша власть, нянькина, родная-народная. А у той власти евреи, — глянула на меня косо и поправи-лась: *евреи*, — были казенные люди, как при царе дворяна. А отдельное еще дело хозяин — хороший хозяин порядочной няньке как родная семья, хоть он научный еврей, как дедушко твой, или государственный человек с пистолетом. Хоть он немец колбасный, а хоть и, прости Господи, злой латыш иль поляк — штаны горят, жопа мерзнет. Семей поживешь — и сама такой станешь, какие хозяева. А просто младенчиков жаль было — помрет некрещеный, скарлатиной какой или корью, или под трамвай угодил, до рая-то уже не спастись, даром что безгрешный засранец. А няньки, те сами собой в рай попадают, у них мелкий жизненный грех в счет не идет, только смертный уж если — вот и не свидишься, значит, с любезным младенцем. Так они думали, няньки”. — “И как, правы оказались?” Баба Катя встала, отряхнула бока и тяжелыми приставными шагами пошла к выходу. Я знал, что устройство загробной жизни она освещать не уполномочена. “Всё, приехали. Расселся тоже, как жопа в Новый год. ...Зато хоть вместе”.

ГЛАВА 12

ЗАГОВОР НЯНЕК [II]

— ВМЕСТЕ ВСЕЙ СТРЕЛЬНОЙ ПЬЕМ ГОРДОСТЬ И СЛАВУ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ! — старик Горно-сталь сверкнул золотыми очечками и одновременно подмигнул двумя круглыми веками — левым мне, правым бабе Кате. И мимо нас наклонно, почти горизонтально проплыл по темному, безвоздушному воздуху граненый стакан (а он его только подталкивал слегка под донышко шепотью, на манер пиалы). Стакан мягко состыковался с топливным шлюзом в нижнем полушарии Горностальной головы, регулярно прошитой редкими и короткими стежками белого льна. За вычетом, конечно, ослепленных сверканьем зениц, раздвоенного хрящика носа и алых, по-младенчески гладких, сейчас усиленно выпяченных губок. А был ведь когда-то черноусый красавец, ответственный съемщик, матрос с крейсера “Киров” и чекист по хозяйственной части! Транспортный корабль, бликующий зеленым и желтым стаканный “Прогресс”, гладким — неграненым — краешком вписанный в обод губы, всеми своими двадцатью гранями медленно про-

ворачивался на весу и, постепенно опустевая, тускнел постепенно изнутри и снаружи (утлые огоньки теплились еще в немногих боржомных пузырьках). Ставши окончательно пуст и в пустоте своей пятнист и почти непрозрачен, он был молодецки пристукнут об клеенчатый Байконур в кислотных ромбоидах. “Уф”, — сказал Горносталь. Русские изобрели граненый стакан, что свидетельствует о многогранности русской природы. О двадцатигранности? — это бы надо обдумать — позже, в ужлабинском башенном бункере, под немой переplex теле-визора это бы надо как следует быть обсчитать. Веранда горела зеленым и желтым сквозь цветные наборные стё-колки, но светлее от этого не становилась — вся заросла по простенкам каким-то пневматически-колючим алоэ, тоже поблескивающим, но глубоко и жирно. С потолка судорожно висли канаты и канатные лестницы, в углу лежала (без лафета) короткая толстая пушка, пристенные половицы были посыпаны крупной обкатанной галькой с залива. Напоминало коктейль-холл “Грот” конца семидесятых годов, не хватало только коктейля “Столичный” (“Советское шампанское” пополам с трехзвездочным грузинским коньяком) и западногерманской песни “Чин, Чин, Чингиз-хан”. При нас тут, конечно, ничего подобного не было — ну, столик стоял с полосатым (бежевое-прозрачное-бежевое) графином (серебряная ложка передергивалась на дне), ну, табуреточка бабы-Катина качкая с ухватной дырою в сиденье, ну, дощатый буфет с трофейным надколотым то ли мейсеном, то ли шут его знает; стекла дребезжали, чуть задывало; отовсюду видать было море. Помню, всегда было сыро и холодно, но пронзительно-солнечно. И пахло по-другому: не газом, а керосином. И всегда — по воспоминаниям великих княжон Константиновен, и в девятнадцатом веке уже, да и сейчас тоже (я посопел) — кислой капустой. “Малой-то у тебя как подтянулся, а, Катери-

на? Не узнать парня — гвардеец, орел! Морская пехота! Слыхали, слышали тебя по голосам бывшим вражеским, Юла Волчковна. Звучишь! Молодец, Июльский!” Баба Катя холодно улыбнулась. На ее вкус Горносталя стал чересчур жизнерадостен к старости.

После войны еврейских младенцев крестить приходилось на Петроградской у отца Иннокентия Блоха, что означало: пол-Невского коляску тyani и толкай по мартовской бурой слякоти, проедающей на кнопочках боты, а там еще два насквозь продутых моста и — долгим глаголом до Княж-Володимерского не закрытого нянькиной властью собора. Баба Катя решила перевести дух под ростральной колонной, пускай даже и с риском, что из задних дворов между Кунсткамерой и Пушкинским домом, тогда еще голых, в кривых прутиках новонасаженных, два-три раза перезимовавших тополей, выйдет по случайности дедушка наш и удивится, чего это она тут делает, зачем завезла меня так далеко от улицы Колокольной, лязгающей красными деревянными трамваями с заворотом и без заворота на Поварской, так далеко от *красивого дома* номер одиннадцать. Река здесь была до того широка, что казалась квадратной, стальной ее мех был золотисто протерт кое-где на изгибах, немые ленинградские чайки, расставивши крылья, висели, что летучие мыши твои, вниз треугольной головой поперек низкого ветра. Из академических колоннад, из университетских проулков вышел человек в полковничьей длинной шинели со следами погон и косою серебристой папахе без следа кокарды. Перешагнул тротуар и, безо всяких тебе *Сева-на-лево-Клава-направо*, полностью ставя подошвы никогда нечищенных офицерских сапог из наилучшей абакумовской юфти, по-петушиному размеренно-плавно вытягивая и резко отдергивая от земли ноги, двинулся через мостовую наискось к бабы-Катину парапету. “Наум Як-

лич!” — узнала баба Катя шинель, сапоги и папаху — и не то что действительно испугалась, но погорячела подложечкой и вспотела крестцом. Но это был не Наум Яклич.

— Тетка, — сказал в дедушкиных шинели с папахой не дедушка, а страшный и желтый, как покойник, при раздвоенных усиках, азиатец какой, а не Наум Яклич, — не делай этого. Не то убью. Хочешь прожить еще шестнадцать лет четыре месяца восемнадцать дней?

— Хочу, — сказала баба Катя, потому что хотела.

— Тогда не делай этого никогда. Иди лучше домой. Не то убью.

Баба Катя, не отводя глаз от глазных яблок, выпукло тлеющих на его плоском лице, двинула животом, с послевоенной *картопли* огромным — и каменным с просроченной лендлизной тушенки, и надавила таким образом на перекладинку семейной гольдштейновской гордости — трофейной коляски “Шкода-Киндерфольксваген-ДеЛюкс”, изготовленной из обрезков (от коробчатых “тигров”) бронетанковой стали, отполированной до голубого сиянья, и из ископаемого дерева древнесаксонского ясеня Иггдрасиль, что было порублено Шарлеманем — Карлом Великим — в ходе одного из предыдущих объединений Европы, в ходе же объединения Европы на тот момент последнего и, как казалось, решительного раскопано научным обществом “Ahnenerbe E.V.” при рейхсфюрере СС Генрихе Гимmlере. Коляска уже было развернулась по команде *полный назад*, как тут не проснулся, но от непонятного ужаса дико заикал, и заёкал, и, что выяснилось несколько позже, из всех дырок обшкочился в плотном пакете из зимней горносталевской тельняшки и бабушкина оренбургского платка полуторамесячный я.

— Фане скажи: на Дальний Восток не повезут их на этот раз, пианино и ложки пусть пока что не трогает, а дачу все равно продает. Вон, Горносталю хоть... С нее бу-

дете жить, Яшки пока не устроятся с жалованьем. Через три года еще. А Наум Яклича чтоб в розыск не подавали — сыщется сам.

Я внутри свертка, весь обсиканный и обкаканый, спал, полустоя на двух задних колесах приподнятой и полуразвернутой “Шкоды”, человек же медленно расстегивал дедушкину шинель, звезду за звездой, звезду за звездой. Всю расстегнул, оказался под ней прямой, твердый, красновато-желтый, весь в ямочках мелких и в бугорках, как бы тисненый, мятый и, за вычетом нагрудного оленьей кожи мешочка на ремешке с шеи, совершенно весь голый. Но без мужского устройства внизу, и без женского тоже. И, естественно, без пупа.

— Ладно, тетка, давай домой ехай. Недосуг мне с тобой. Мне еще в ставку Великого Хана, до самой Москвы надо лететь, по Наум Яклича особосрочному делу. Не подписывал бы с гроссманами и ботвинниками всякими прошений на ханское имя — *просим, дескать, послать, да подальше и повосточнее...*, может, и гонки такой сейчас не было. Малой, — он кивнул на меня уходящим в кадык подбородком, — обо мне спросит, свежи его в Стрельну на дачу — пускай там оглядится.

Вытолкал из мешочка равнодолгими пальцами без ногтей и фаланг трубочку ржавой бахромчатой кожи, без звука и пара подышал в нее, разворачивающуюся — и пропал никуда.

“А вот тут вот и баня у нас, баньку сложил дядя Боря! Ца-регородцев Вовка из Третьего управления, золотой парень, корешок мой с сорок третьего года, кирпича подослал, шиферу — я и сложил...” — Горносталя смеялся, подмигивал и подбирая штаны перешагивал грядки. Иногда взмахивал круглой короткой рукой, представляя: “Смородина. Красная”.

— Борис Петрович, на чердак не сводите? А?

Будто не слышал. “Огуррики-помидорчики, Сталин Кирова убил сами знаете где. Штакетник-то, погляди, Ка-терина, штакетник какой! Досточка к досточке, балтфлотский отборный, карельская сосна корабельная — в девяностом году на бронекатере притаранили, с Кронштадта, есть там у меня человек один в хозяйственной части Балтфлота — фронтового товарища сын, Бравоживотовский кавторанг по снабжению, Яков Исакыч такой — не знаешь, Юлий Цезарь, его?”

— Откуда же, Борис Петрович?

— Так он же из ваших. ...Ну вот, пришли — а это мое народное творчество, пожалуйста бритесь! — И старик Горносталь, со страшной скоростью мелкими приставными шажками катясь вдоль забора бочком, стал откидывать за спину еловые лапы. Лапы отлетали, как от сучкорезной машины, и открывали подзаборную линию тесно поставленных в профиль бюстов, гипсовых, бронзовых, керамических — через каждые четыре Ленина один клинобородый Дзержинский, через четыре Дзержинских — наоряльный Бетховен. — Лью вот помаленечку в баньке, опять же леплю под обжог, — скромно отпыхивался Горносталь. — Там и тигелечек у меня на солярке, и муфелек, и все, чего хочешь. При Советской власти большой был секрет, всё дрейфил, соседи в обзэ-эс стукнут, дескать, дядя Боря госмонополию на вождей нарушает. А нынче свобода, бляха-муха, и демократия — лепи Ильича с Сигизмундычем кто сколько хочет. Идут у нас на толчке привокзальном, как пирожки с сагой и с луком горячие, по три-четыре тысячи штучка. Бронза — дороже. Наши тетки цыганские носят. Ну как, нравятся?

— Очень симпатичные, — сказал я, несколько покривив душой — по природной широте Горносталь сильно переплескивал материалу, а по дальнозоркости не по всем швам зачищал облой, отчего отдельные бюсты приобретали некоторую авангардистскую мохнатость и впу-

ченность, местами же взрытость, особенно неуместную у Ленина на лысине. Отдельные его экземпляры напоминали каких-то татаро-монгольских Горгон с уснувшими на черепе вялыми змейками. — Так что, Борис Петрович, на чердак-то не сводите?

— А чего тебе, на чердаке-то, голуба? Какие сокровища? Там и нет ничего, хлам всякий. Мне-то на верхотуру все одно не взобраться, так я ничего туда и не лóжил.

— Глины кус вот такой примерно, рыжая глина, засохшая, старая — не замечали случайно?

Горносталя задумчиво покаябал розовым мизинцем в смуглом просвете белоснежной волосни под тельняшкой. “Так точно, был такой матерьял, только, пардон, не от вас оставался, не от Наум Яклича и Фанни Жаковны. Я его собственноручно со службы притырил, где я месяц пенсионный отработывал в восемьдесят пятом году, в Кунсткамере и по совместительству в Этнографическом музее, там первым отделом заведывал, покуда Десятишников Колька, их штатный, в отпуску прохлаждался. Дай думаю, глинку подберу, хорошая глинка, красная, а инвентарного номера на ней нет никакого, художественно-исторической ценности, значит, не представляет...”

— Да где ж она, дядя Боря?

— Как где? Так вот, вот и вон еще, за клубникой. Я ее как следует быть размочил, да размял, да в тигелек под две тысячи Цельсия. Да ты погляди, Людвиг Иваныч какой! А? Лев, а не композитор! Знаешь чего? — на, держи — дарю. На вечную память старика Горносталя! — И, расчувствовавшись, коротко всхлипнул.

ГЛАВА 13

ГДЕ РУССКОЙ НЕТ ЗЕМЛИ

Дела мои кончились, не начавшись (ну и черт с ними, с *големическими преданиями*, не очень-то было и надо, писать все равно я бы об этом не стал, хотя бы назло “Культурбункеру”; зато уж “Войну стариков и детей” мою никому у меня не оттырить, все юденшлюхтские архивные папочки схованы в башенном бункере на чердаке в сундуке, а ключ у Ирмгард в трусах), знакомых (кто не умер и кто не уехал) я всех повидал, с двумя, с тремя — кто из них был знакомая — как тот Рабинович, переночевал даже по быстрому днем (кожа у них на локтях и ключицах сделалась чуточку жестче, новые трещинки подбежали к соскам, пупырышки на ягодицах посинели и увеличились, а главное: они больше не закрывали глаза, поскольку перестали стесняться иронического их сужения при сотрясении; в остальном были всё те же; нет, еще пахли иначе — суше, тяжелее и непроветренной — дрожжами? крабными палочками? или это я сам так пах из паха, раздетый?). В воскресенье я улетал — вечерним аэрофлотовским рейсом на Прагу, отсиживать в бункере две еще мне остающихся трети женской судьбы, поэтому

сел на Староневском в автобус и поехал на проспект Александровской Фермы, на еврейское кладбище. Баба Катя осталась смотреть телевизор и отвечать на звонки Вениамина, волосатого младшего брата. Юноша волновался, передам ли я его оттиск в Финляндию дяде Яхуду, и скоро ли. И нельзя ли похлопотать, чтобы дядя — лапландский профессор (“кислых щей”, — бормотала баба Катя, отворачивая по-гобойному вжатые губы от трубки) его принял в аспирантуру, а не то предприимчивый отчим, старый богач новорусский, определит его к себе в ТОО “Сельхозэкспорт-Транзит”, которое занимается ввозом в Германию, Голландию и Бельгию элитных болонок, декларируемых в качестве карликовых японских овец. А юноше как семейному полиглоту и интеллектуалу месяцами придется их растаможивать. Или растамаживать. Главное: как их заставить не лаять, а блеять? Изречениями типа *Бог не Яшка, видит, кому тяжело* и подобными из своего репертуара баба Катя быстро отшугивала бедного пасынка богатого отчима и возвращалась к телевизору, в спешке забывая открывать двери и касаться подошвами пола. Из телевизионных персонажей ей особенно нравился Ельцин, *вылитый наш председатель колхозный, Григорий Пятрович*. Но он был и сам на нее отчасти похож, когда не смеялся. Нового президента Американской Империи, бродившего, задрав безухую голову, по лилово-сиреневым дорожкам каких-то европейских дворцов, не знаю, прямая трансляция или же в записи, она не одобряла решительно: “Комсомолец голоштаный, шпаненыш такой. Шуруется на имущество, ёбрик-малолетка, будто раскулачивать наявился. Или подельников навести на пружинках, чтоб ночью на гоп-стоп взяли”. Не знаю, если бы я умер сегодня и лет через тридцать был ненадолго отпущен, может, и я бы ничего другого не делал, кроме как целыми днями смотрел телевизор или что там у них взамен будет тогда. Картинки наскальные.

За мной увязался символист Цымбалист, рассчитывавший *при нынешних расценках* существенно уменьшить

свою задолженность по квартплате. “Старичок, — говорил он, при каждом прыжке автобуса лоя и перекладывая косицу с плеча на плечо, — при нынешних расценках это все стоит! Ведро воды я тебе принес — раз! уже столтник, листочки обмел — два столтника! Решетку подкрасил — четыре!” Подобная щепетильность мне в нем была незнакома, скорее наоборот, но не иначе как в этом сотрясенном закрытьем “Сайгона” мозгу укоренилась идея, что в противном случае я его *поставлю на счетчик* и стану прикладывать раскаленный утюг к его негладкому телу.

На кладбище не было, если можно так выразиться, ни одной живой души. Не в земле — это и так ясно: известно (тем, кто меня когда-то читал), что на тридцатый день после похорон еврейские души оставляют могилы — ртутными шариками укатываются по перепутанным трещинам и кротовым ходам земли, лужицами и озерцами стекаются к подкладбищенским полостям — есть под Варшавой, под Прагой, под Аддис-Абебой, под Вавилоном такие, есть и еще кое-где, а выходят оттуда тускло-мерцающими подземными реками, чтобы медленно течь дальше — под самый под Иерусалим. Там, разделившись на отдельные капли, разобравшись по родам и коленам, двенадцатью гроздами, двенадцатью живыми роями они висят невесомо в глубочайшей пещере под Масличной горой, ждут растворения недр и поименного вызова. Когда под горой и над горой соберутся те пятьсот тысяч душ, что были при дарованье Моисею скрижалей, над Иерусалимом раздастся глухой роговой скрежет. Это зовут нас. Но еврейское время все медленнее, а нееврейское — все быстрее; все с большей скоростью размельчаются еврейские души — на половинки, на четвертушки, осьмушки, шестнадцатые, кой в каких странах — и не только Эдома! — на многие тысячи тел едва-едва собирается одна хиленькая, с трудом вспоминающая дарованье скрижалей душа — поэтому все медленней и медленней дополняется Собрание Израиля.

Но на кладбище Преображенском никого не было из надземных людей, кроме нас с Цымбалистом. Мы шли по Герценовской аллее, по рыжей дорожке, хрустящей зачерствевшим ледком, и не видели ни воскресных инженерских семейств в заплатанной дачной одежде (детки, чьи янтарные глаза уже на всю жизнь засветились бессмысленным блеском, бегут, спотыкаясь, с ведерками — красными, синими, желтыми — от общей кучи с холодным самаркандским песком), ни дантистов и их импортных леек в палачески толстых руках, ни горбоносых искусствоведов во всем штатском, ни женщин в панамках (а всякая женщина в панамке неизбежно похожа на Любовь Орлову), ни служилых кладбищенских теток в резиновых сапогах на голу ногу и с искаженными окурками лицами. Никого не было — ни в конторе, ни в синагоге; не было даже столетней цыганки с цветами, которая у ворот уж всегда уж была. Может, все евреи уже умерли или уехали, а русские пошли на прощенное воскресенье к своим? Куда же тогда делась цыганка? Цымбалист молчал, озирался и очевидно прикидывал, не отлить ли ему полученные сейчас от меня сведенья в какую-нибудь такую корону сонетов — с лазоревыми всполохами, с золотыми потоками, с зарницами, зеницами, звездами, Эдомом, Адамом (ветхим), с церковнославянизмами в неверных падежах и залогах, а также и с прочим символистическим антуражем; труд, конечно, немаленький, но до известной степени облегчаемый тем, что в сонетах его рифмы встречались от случая к случаю, а строчек было, как правило, не больше одиннадцати. Махая бидоном и ревниво оглядываясь (не стану ли я сметать с камня труху прошлой осени или, не дай бог, красить ограду), Цымбалист убежал за водой. Я прикрыл изнутри дверку и, подтянув к подбородку колени, с незажигающейся папиросой сел на скамеечку. Здесь, только здесь, между качающихся от тишины сосен, среди полупохороненных под черно-серой осыпью раковин (опавшие листья — маленькие, мертвые, навек улетучившиеся мыши с обмякшими перепон-

ками), только в этой кривоватой ограде, сваренной на скорую руку из отбракованного объединением “Металлический завод” чугуна, я мог бы себя чувствовать дома — но не чувствовал, потому что лет семь назад сочинял уже об этом стихами (...здесь, только здесь, где русской нет земли, где только прах под непокрытой клеткой...). К известному возрасту становится неловко думать или чувствовать по написанному, даже если написал это сам. Поэтому я только смотрел на побелевшие надписи досок, привинченных к ограде вовнутрь лицом (Цымбалист обещал позолотить бронзовой краской), на овальные фотографии двоюродных родственников в коричневатокислотных тонах и на родное бровастое лицо деда среди них, с пологой хазарскою лысиной и веселым утолщением на переносице — и думал о том, что, слава Б-гу, здесь нет и его. Дошел ли он до Иерусалима за эти тридцать лет в трещинах и порах земли? Я могу туда долететь за четыре часа и купить в аэропорту им. Бен-Гуриона запаянный целлофановый пакетик с надписью “Воздух Иерусалима” на трех языках — английском, иврите и почему-то древненорвежском, но что это даст? Ничего. Встретимся мы все равно только в последний, в единственный день. Интересно, к какому колену поставят хазар? Мне почему-то кажется, к склочному, к Вениаминову.

Прибежал Цымбалист с сообщением, что в колонке воды нет. Это его почему-то очень смешило. “Знаем, кто выпил. Точно, старичок? Я слетаю к дальней, за стольничек”.

Я посмотрел сквозь сосны в безоблачно-пасмурное небо. Оно осветилось. О чем мне было думать, раз здесь никого не было? Я думал о том, что

старость — это когда перестает нравиться собственный запах.

* * *

И когда у женщин начинают нравиться волосы на руках.

* * *

Секрет старости: если долго постукивать пальцем с нагнивающим заусенцем по какой-либо твердой поверхности, например по столу, то через несколько времени в подушечке пальца возникнет то болезненно-сладостное ощущение, которого в ином месте иным способом уже не добиться.

* * *

Даже ради спасения всего мира человек не в состоянии удержаться от нарушения какого-нибудь связанного с этим условием небольшого зарока — например, не ковыряться в носу. Или от того или иного способа совокупления.

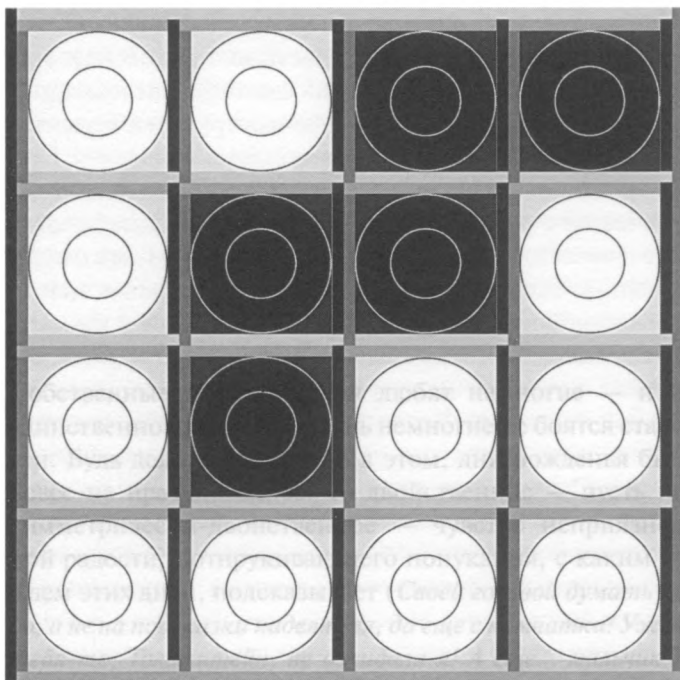
* * *

Если доживу до конца жизни, напишу книгу под названием “Сестра моя краткость”.

— Стоп, Лева. Хватит. Все в порядке, достаточно, — я встал со скамеечки останавливать Цымбалиста, чье усердие уже грозило превратить дебет в кредит, и того гляди, это он меня будет ставить на счетчик и прикладывать к моему помягчевшему под женской одеждой телу маленький раскаленный уютг с выпуклой надписью *УТЮГЪ* на корме. Камень вынырнул из листвы, пористый, белесый и крапчатый (воды так и не случилось), ограда сверкала и капала черным, надписи золотели почти что нарядно: “Всё, квиты, квиты. Пошли на выход”.

— А скажи, старичок, ты в Германии натянул уже немку какую-нибудь там или нет? Только честно! Правду говорят, немку натянуть очень тяжело? Многие хорошие ребята пролетели, как фанера. Над Парижем. — И не дожидаясь ответа, которого все равно не было, он, подпрыгивая, оборачиваясь и черпая вдруг заблеставший и заголубевший воздух дырявою шляпой, стал удаляться по проспекту Александровской Фермы в сторону почему-то Александровской фермы. “Щелкопер, — сказала баба Катя, презрительно отделясь от стены. — Ну, поехали в аэропорт, что ли — такси вон гукает. Да и мне уже тоже пора”.

Второе вступление:



Декабрь
девяносто
второго

ГЛАВА 14

О РАСХОЖДЕНИЯХ МЕЖВРЕМЕННОЙ ЩЕЛИ

Собственные дни рожденья любят немногие — и не единственно оттого, что лишь немногие не боятся старости. Будь дело единственно в этом, дни рожденья бы и вовсе не праздновались. То двойственное — пусть несимметрически-двойственное — чувство неприязненной радости, потпрукивающего понукания, с каким мы ждем этих дней, подсказывает (*Своей головой думать надо, а не на подсказки надеяться, да еще с камчатки! Уж от тебя-то, Гольдштейн, не ожидала я! А еще... мальчик из интеллигентной семьи!*): речь идет об отношении человека к индивидуальной смерти. День рожденья — репетиция смерти, упаковка индивидуальной жизни (по крайней мере, какой мы знаем ее — здесь и сейчас) в целые числа: тринадцать лет, двадцать один год, сорок, девяносто один; третий десяток, пятый, не сглазить бы, двенадцатый; ежегодная репетиция окончательной упаковки в единицу — в самое простое из чисел.

Человечество же или, точнее сказать, победоносная его часть, оперирующая поступательным образом време-

ни, недолюбливает календарные новогодья — и не единственно потому, что суеверно опасается завоеванного будущего. Только один раз в году щелка между двумя секундами становится предметом массового потребления, и можно — даже, собственно, нужно — заглянуть в эту безвременную тьму, куда остальной год заглядывают только поэты (что, впрочем, часть их профессии). Новый год — ежегодная репетиция светопреставления, потому так старательно тушится фейерверками и глушится шипом толстопузых шампанских змиев.

Христианская цивилизация связала ритм жизни человечества с ритмом жизни человека или, если угодно, богочеловека, и все вышесказанное, не без локальных вариаций, конечно, применимо прежде всего к ней, к двуснастной цивилизации этой, распрямившей римское колесо календаря железными руками нетерпеливых еврейских пророков и получившей прямую (в горизонтальной плоскости) одно- и узкоколейную дорогу с имеющими оборваться над пропастью рельсами. Дальше придется лететь, если кто умеет.

Но даже и в христианских странах (и даже и в западно-христианских странах, мытом и катом навязавших свой календарь прочим — восточным схизматикам и южным басурманам) Новый год есть праздник неявно-принудительный, принужденный, в прямом значении не-обходимый: христианское ограничение бесконечного ряда языческих судеб. Христианское человечество празднует Рождество — приход, а не уход, и притом как бы сразу второй приход, а не первый. То есть: начало мессианского времени в своем понимании, а не его конец, не разверзшуюся окончательно безвременную тьму. Внутри календарного года их Пасха предшествует их Рождеству, поскольку означает их надежду на второе пришествие, а Новый год — это их Черная Пасха, пасха с неизвестным исходом воскресения. Человечество (и не

только христианское человечество) догадывается о том, что в 1939 году описал сухощавой, тогда еще твердой рукой ленинградский учитель математики, музыковед-любитель и оставленный судьбою в одиночестве друг *друзей, оставленных судьбою*, — Яков Друскин (бывший провидцем, пока постепенно не устал от свободы и не сделался по-марксистски погрязшим в христологической казуистике выкрестом). Текст называется по существу — “О конце света”: *Может быть, он будет приближаться год и обязательно в жаркое время: начнется в июле и кончится в июле. Начнется, возможно, так: из окна или на улице я увижу человека, который ничем не отличается от других, кроме походки — он идет немного медленнее и сосредоточеннее других. ... После нескольких встреч, где-нибудь, где соберется много людей, а может быть, и в каждом доме, кто-то случайно скажет, вспоминая какое-либо событие: это было тогда, когда появился человек, идущий медленно. И вот это будет страх. Человек, который это скажет, остановится, и все поймут, что случилось что-то страшное и непоправимое и что все это уже знают. ... И весь июнь будут стоять жаркие солнечные дни, и если и будут дожди, то только для того, чтобы люди не умерли раньше времени. А в июле случится светопреставление.*

Конец света — не момент, а процесс. Процесс со своим началом и со своим — вероятно, и нашим — концом, с собственной сложной структурой подъемов и спадов, особое время, страшное и желанное одновременно, поскольку с его началом отменяется привычная горесть: быть единицей несчастливого человечества, а в его конце отменяется и само человечество, по крайней мере, каким мы знаем его — здесь и сейчас.

По-немецки временной промежуток между Рождеством и Новым годом именуется *Zwischen den Jahren*, междугодь; из общего хода дней он как бы изъят, он как бы

и есть сама эта межвременная, межвременная, хотите? — междувременная щель: семидневное глухое невремя, где неизвестно, что делать, как жить, какими огнями тушить, каким весельем глушить его холод, тьму и молчание. Эти междугодья — ежегодная порция замороженного консервного лотоса, дающего забвенью не праздничной своей лихорадкой, а вызвавшим ее необъяснимым холодом, потягивающим из щели между секундами. Детей еще как-то пытаются выучить радости — подарками, развлечениями, освобождением от школьной повинности — дети и радуются, покуда не подрастают, взрослеют (если, конечно, взрослеют): радуются, как собственным дням рожденья — и с тем же рано или поздно приходящим результатом. Поэтому западные люди хотят навечно остаться детьми. Ну хотя бы подростками. Запретить взросление. Это рецептура их счастья для себя, для своих детей — и для всех остальных. Некоторые уже этого счастья достигли. ...А как, интересно, назвать эти начинающиеся (или через год начинающиеся?) семь лет между веками, между тысячелетиями, между послевоенным временем и предвоенным, семилетнее глухое невремя — *междувечье?* *междуэпошье?* Пускай пока междувечье.

В Великой Американской Империи, в Западном мире, задыхающемся от объявленной молодежавыми цезарями декады победных торжеств (закупорка артерий от бесконечных верениц новых рабов и особенно новых рабынь с Востока и Юга, по старым римским дорогам бредущих на запад и север или с выпяченным, сверкающим туго и тускло бедром стоящих по влажным обочинам; ожирение сердца от трофейного золота, дешевой амбры, оброчных мехов драгоценных, переполнивших сокровищницы цезарей и избытком перетекающих на чековые книжки сенаторов, на швейцарские счета мерседесных и линкольновых всадников, но и в кошельки младенчески счастливых плебеев, ликующе пляшущих на скамьях ста-

дионов с отестовленной собачьей сосиской в руке — *some dogs like it hot, sometimes*), в Цивилизованном мире, забывшем — собственно-то, и знать никогда не желавшем, — что все победы Пирровы, что ни один Рубикон нельзя перейти дважды, что Варровы легионы просто перебежали, в Империи, **ПОБЕДОНОСНОЙ ПРИ ЛЮБОМ ОБОРОТЕ ВЕЩЕЙ**, с каждым годом удлиняются сроки того, что я бы назвал *Предрождеством*. Уже в октябре, с середины, а то и с начала его, осторожно начинает начинаться это предпраздничное, сыро и тускло сверкающее время. Кое-где, кое-когда, постепенно, все чаще и чаще появляются витрины, рекламы, летящие из телевизора мысли о подарках и каникулярных отъездах — приступы празднично задыхающейся легкости детского существования. Считается, что причиной тому политика торговых магнатов, заинтересованных в расширении рождественского сумасшествия трат. Оно, конечно, и так, но мешает ли это увидеть: межвременная щель самостоятельно раздвигается, постепенно подмывается берег однобережной реки, удлиняется однокольный прогон под гору — к краю, к обрыву. Не само мессианское время, но место для мессианского времени расширяется постепенно, неудержимо, и, может быть, как и видел — пока не испугался увиденного — Яков Друскин, друг оставленных судьбою друзей, *когда-нибудь оно будет начинаться в июле*.

САТИРА ТРЕТЬЯ
ДЕКАБРЬ
ДЕВЯНОСТО ТРЕТЬЕГО

*Nikdy neošla krev na stěně této síně, jen někdy
zčernala, ale jindy zase, za časů zlých, nabyla
barvy červeně.*

Jiří Weil. *Život z hvězdou*¹

1 Кровь не высыхала на стене этого зала, иногда только чернела, но потом, с наступлением скверных времен, снова делалась алой.

Иржи Вайль. Жизнь со звездой (чешск.)

ГЛАВА 15

КАШТАН АДОЛЬФ ГИТЛЕР

Я смотрю на слизисто вспухшее, узкогортанное небо, которое перегораживают три желто-зеленых вертолета — равнобойно стучащие и разнобойно свистящие (стучавшие и свистевшие бы, кабы не *беруши бытовые обо-конечные*; а так — только волны в ушах: тупо прихлынывают и отхлынывают, как похмельная кровь). На вертолетных растопыренных лыжах могли бы свить гнезда птицы, пока, однако, не свили: междугодье — не сезон гнездовитья, междугодье — сезон небопиленья. Ближний вертолетчик поворачивается-внутри-каска-надвигается-на-меня-гладким-шевелиющимся-жвалом, грозится из-за бронестекла (средним, обложенным сине-красной фальшивой камедью пальцем), и я покорно (кроткая еврейская старая девушка) опускаю бинокль — на узкогузую птицу без шеи (еще один черненький вертолетик), которая так все и ходит туда-сюда по отогнутой ветке каштана — дойдет до одного из концов, подпрыгнет и развернется. И белка ползет еще по стволу вверх, как ящерица с мохнатым хвостом — или это другая белка, хво-

статей и распяленной прежней? Внутри потного аквариума автобусной остановки с чешской стороны за каштаном лежит на скамье велосипедный шлем, похож на лакированный волчий череп. Его принес откуда-то Гонза и, намерявшись, бросил. Каштан был посажен (дубы, не говоря уже о ясенях, не принимались *вусмерть ожидавленной почвой*) двадцатого апреля тридцать девятого года (площадь тогда звалась еще просто *Ратушной*) и окрещен (на торжественном митинге с оркестром и спичками): “АДОЛЬФ ГИТЛЕР”, но это секрет — чтобы *не превращать невиноватое дерево в предмет извращенного культа*. Знают об этом лишь дуумвиры-шофеты д-р Хайнц-Йорген Вондрачек и пан Индржих Вернер, а теперь еще я, спасибо подшивке “Юденшлюхтер фолькснахрихтен” за апрель тридцать девятого года и голдстиновской диссертации по межбиблиотечному обмену. Ну, и Ирка, конечно: ей я перетаранила всю историю на шести с половиной визитках зубного врача Гофмана-Шталена фон Юденшлюхта — этот, как на площади встретится, всякий раз норовит уронить мне в карман юбки, будто бы незаметно, визитную карточку с вытисненной на ней золотой фиксой, знаком его баронского достоинства (“Киса, а тебя это в какую щель естественит? Или тебе для романа надо? Бедная киса!”). ...Йозеф Тон, Марженкин *отец*, хаузмайстер Юденшлюхтского замка — тоже, пожалуй, знать должен, он и тогда был тут хаузмайстер, не в замке только, а в башне, на то время единственной. Но откуда прознали про каштаново имя эти, в кожаных кельтских передниках и альпинистских ботинках — прыщавогрудые юноши обоего пола, что съезжаются сюда ежегодно на перевитых алыми, зелеными и черными лентами мотоциклетах: варить в чугунах бронебойную кашу с вороньими шкварками и всю ночь до рассвета скакать — и ихние Каштанки полутораметровые с ними — через костры, разложенные по контуру руны “Odal” (ромбик,

стоящий на двух исходящих из его низа и поставленных на пяточку лапках), символизирующей *кровное родство* и служившей эмблемой разведотдела СС, а также 7-й добровольческой горнострелковой дивизии СС “Принц Евгений” (*Храбрый рыцарь, принц Евгений, обещал монарху в Вене, что вернет ему Белград...*) и еще почему-то основной орнамента моих детскосадовских варежек. Каштан конский, ему все равно. Первый раз, говорят, они накатили аккуратно в восемьдесят девятом году, к тайному пятидесятилетию каштана. По четыре мотоцикла от каждой страны света, благо границы кое-какие были уже приоткрыты на сезон междувечья, — так за пасхальным столом в замке нашептали мне Полурабинович и Корольштейн, заслуженные габардины Балкарии, земля им, видимо, пухом: “А в этом году тыщами понаедут — с севера и востока на “ИЖ-Планетах” и “Явах”, с запада и юга на “Харлеях” и “Хондах””. Я как раз уезжал тогда через несколько дней в б. Ленинград по одному архивному и еще одному, неважному делу и особо не вслушивался в страшный старческий шепот. Но третьего дня (или, в их честь, на суржике: *позавчера*), когда стало известно, что Полурабинович и Корольштейн ушли перед сном погулять (по одичалому парку: бесконечные ряды кривых полуразвязавшихся веников торчат из серых, пористых, наклоненно-подталых лунок) и с тех пор никогда не вернулись, вспомнил; они были как два близнеца последнего абиссинского негуса — прямые; худые, горбоносые, с расходящимся кверху жестким кустом головы, только Полурабинович посветлее, а Корольштейн потемнее с лица, чем покойный Хайле Селассие; старик Голоцван называл их *хуи-побратимы*. “Один дурак — это конференсье, а два дурака — это уже конференция”, — шутили они знаменитую шутку тридцатых годов. *За эту шутку сидели.*

Приглашение на еврейскую пасху (*Уважаемая г-жа Гольдштейн! Отдел социального обеспечения г. Юдениллохт, объединенная ушлабинско-юдениллохтская община граждан мозаического вероисповедания и юдениллохтский союз ветеранов Второй мировой войны (с нашей стороны) сердечно приглашают Вас 15-го ниссана 5753-го года (6.4.1993) на экуменический седер...*) обнаружилось в первой за три с лишним месяца почте, не считая, естественно, письмеца от Елены Андреевны Шварц, переданного добрым гэдэ-эровским телевизором. Тяжело и дешево пообедавши в “Кафке”, с послевкусием волосатой “запеканки капустной по-южноморавски” под языком, с предвкушением трехсот девяноста ступенек в ноющих голеностопах и икрах, я накрутил (медными ребристыми ручками — безо всякой, впрочем, надежды, единственно по каждодневной привычке) код G.O.L.9.3. на замке почтового сейфа, встроенного в подножие бункера перед поворотом на лестницу. Оттянул на себя — не без усилия — дверцу (броня лобовая толщиной 25 мм, от чехословацкого, а с 1939 года немецкого танка производства фабрики “Шкода” — пускай легкого, 35 тонн, но как-никак танка): мамочки мои родные, два не по-русски удлиненных конверта, а три с лишним месяца не было ни шиша! Другой конверт, серебряно-голубоватый на сиреневой чуть жатой подкладочке, от руки был надписан “К Госпожа Июлия Гольдштейн” и украшен золотым баронским зубцом, подвязанным передернувшимся в зигзаг траурно-узким кашне с полуготической надписью “Zahnarzt Dr. med. dent. Julius von Hoffmann-Stahlen Freiherr von Judenschlucht. Alle Krankenkassen”.

Юденшлюхт, 3 апреля 1993 г.

Госпоже Ю. Гольдштейн,
временно проживающей по адресу:

Драй-Ратхойзер-Плац, 1а

г. Юденшлюхт, Федеративная Республика Германия

Дорогая госпожа Гольдштейн,

Я был бы весьма рад Вашему приходу в мой зубо врачебный кабинет. Как я краем глаза смог убедиться в результате нескольких наших приятных, хотя и мимолетных встреч,

— Немая, а открываю рот, как рыба. Дура!

работа по Вашему лечению будет немалая, но я произведу ее тщательно и с любовью. Убедительно рекомендую Вам воздерживаться от потребления продуктов питания, содержащих (также и в скрытом виде) сахар. Пожалуйста, учитывайте в этом смысле и пшеничную муку со всеми производимыми из нее изделиями — избегайте их. Не забывайте о наших пращурах, чьи зубы до весьма преклонного возраста оставались безо всяких признаков кариеса. Только лишь вслед за появлением подобных продуктов питания возникли и такие заболевания, как кариес и пародонтоз, да и многие, многие другие.

— Ну, это уже антинаучная чушь! Когда я был пятиклассник в форменном мышинном мешочке, папа мне показывал в Музее этнографии первобытную челюсть — маленькую, кривую и бурую. На зуба четыре он бы штук семь пломб туда забурил, а больше зубов там и не было.

Теперь несколько слов по поводу финансовой стороны дела. Общая сумма оплаты составит 1093, 20 нем. марок, каковая сумма была определена мною на основании обычного тарифа, предусмотренного Федеральными предписаниями о сборах и тарифах. Я пользуюсь этим тарифом на протяже-

нии последних семи лет БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЙ, и за это благодарны мне все мои пациенты! Одни только включаемые сюда расходы на содержание зубо-врачебного кабинета составляют 620 нем. марок. Но Вас я обслужу вообще без гонорара — это для меня дело чести, ПОТОМУ ЧТО: я принадлежу еще к тому поколению, которое во время смертоубийственной войны причинило Вашему народу невероятные страдания. Я прошу прощения за это, поэтому Ваше лечение производится совершенно бесплатно. А также и в память о проведенных мною 4 счастливых годах юности в русском плену (1945—49 гг, в Стрельне под Ленинградом), о Вашей великой и замечательной Родине, о добrote русских женщин и о большом сердце русского народа.

Однако же я склонен предполагать, что пригласивший Вас культурный фонд судетских землячеств “Kulturbunker E.V.” заключил на Ваше имя договор больничного страхования,

— Действительно, заключил и из стипендии вычитает.

и если страховые взносы все равно выплачиваются, то я не понимаю, почему мы должны дарить больничной кассе суммы по возмещению медицинских издержек, которые она по условиям страховки должна выплатить?! Пожалуйста, сообщите мне, соответствует ли мое предположение действительности. В таком случае по окончании лечения мною будет Вам выслан соответствующий счет. Вы должны будете заплатить мне только ту сумму, которая по условиям страхового договора возмещается Вам больничной кассой. В остальном же все останется так, как я пообещал Вам выше — то есть бесплатно.

С горячим приветом и в радостном ожидании встречи,
 доктор Юлиус фон Гофман-Штален,
 барон фон Юденшлюхт.

Настоящим заверяется соответствие перевода на русский язык предоставленному мне немецкому оригиналу. Присяжный и судебный переводчик Яков Джурджу, 4 апреля 1993 г., г. Хоф.

Но я не пошел к благородному доктору, хоть от холодного плзеньского (из архивного холодильника) ныли нижние зубы, а от теплого будейовицкого (из медного крантика в “Кафке”) — верхние. А вдруг — Ирмгард на радость! — он положил на меня глаз? — что я, спрашивается, тогда буду делать? И еще я не знал, отличаются ли мужские зубы от женских и не разоблачит ли меня барон Гофман-Штален, что я дяденька, а не тетенька и нарушитель Имперского закона о квотах вдобавок, едва я пошире раскрою свой кроваво-перламутровый рот. И что я курю. Буду, подумал, монетой на ниточке звонить в США, спрошу заодно папу: а вообще может дантист отличить мужчину от женщины — по одним только зубам? Не зря ж он тридцать лет и три года отстоял у бормашины в поликлинике работников хлебобулочной промышленности со словами *Сейчас будет немножко неприятно* на седеющих и густеющих год от года усах. Но не спросил — забыл, как о смерти. Отчасти же я и стремался звонить из гэдээровской бесплатной кабинки, пусть даже ночью — площадь на первый взгляд хотя и пустая, но под круглосуточным наблюдением разных внимательных глаз, уж я-то уж знаю. И в июле—августе, когда ездил на побывку к родителям, *обратно* не поговорил об этом с отцом — как-то не до того было на сверкающей и спирально кружащейся чернозеркальной жаре, спастись от которой удавалось только в Музее естественной истории со скелетированными динозаврами на открытом доступе и раскрашенными чучелами индейцев в застекленных витринах. Я долго бродил по этнографическим залам, разыскивая, куда подевались евреи. Не то что для чего-то они мне были нужны, но просто их не было. Все остальные имелись, выпотрошенные, засушенные,

раскрашенные, оснащенные разноцветными стеклянными глазами и натуральными волосами, — и первобытные люди, искусно прикрывшие член топором, и шумеро-аккадцы с заплетенными в косичку бородками, и полуголые древнеегиптяне в пионерской цепочке, уходящей на закат, к пирамидам, и подбоченившийся у царь-бочки немец в кожаных штанишках на ляпочках, и чех с лицом Карела Готта, и китаец в желтом халате, раздраконенном золотом, и русский на волжском обрыве, запрокинувший голову так, что папаха со звездочкой упала к лаптям, и самозабвенно трубящий в бутылку с портретом товарища Сталина и полууставной надписью *spirit*. А евреев как не было, так и не было. Я нервничал, отец торопил, утверждая, что через полчаса сабвей станет опасен. Я начал уже было обтачивать (мысленно) жалобу на полужнакомой американской латыни, обращая ее к стоймя дремлющей под кондиционером *бабушке* — полуголому пузатому и грудастому негру с кольцом в правом ухе (афроамериканцу повышенной корпуленции и нетрадиционной сексуальной ориентации — или это тоже был экспонат?), как заметил в самом дальнем простенке — все-таки! — надпись мелкими медными капителями: *JEWS*, а под нею голубоватый экранчик с картой мира, по контурам поплывшей и засижженной искра-ми. Я потрогал пальцем Китай — слегка дернуло током и выскочило фото похожей на пагоду синагоги; потрогал верх Африки — старикан, обвернутый в белые простыни и похожий на Хайле Селассие; потрогал Рудные Горы на границе Германии с Чехией, в самой глубине разинутого на восток немецкого зева — на экран стало выкатывать (медленно сверху вниз) плоское, полное, под косыми очками округлившее брови лицо с черно-седой, жесткомелковолнистой, стянутой к затылку прической... *Юлик, совсем уже, да? Застрлял, понимаешь, у зеркала, как пэтэушница на гарнизонных танцах в сортире! Опоздаем же — через шестнадцать минут в гарлемских школах кончается последний урок!*

ГЛАВА 16

ВОЙНА

СТАРИКОВ И ДЕТЕЙ [II]

Сводный оркестр просел по матерчатым стульчикам — сосать кофе из термосов и обтирать слезы со лба (чехи клетчатыми носовыми платками, немцы бумажными полотенцами). Девки — белые, розовые и черные цапли в алых и белых передниках — переменили по команде *вольно* опорную ногу, несколько сгорбились и подперли с обеих сторон титьки, большими пальцами сгоняя их с боков к середине. А неугомонные старцы-шофеты всё репетируют и репетируют провозглашение официальных приветствий, хоть и сами не слышат, что говорят, — теперь, вижу, очередь Вернера жидовскоужлабинского: табачная щеточка усов, сморщенные яблочные скулы, искренние прозрачные глаза над серокаменной в белую крапинку кафедрой, похожей на стоячий саркофаг, впервые с рождества 1944 г. вынесенной из собора Св. Пилигрима, так по-чешски и именуемого: *Пелегржимова катедра*. На переду кафедры вырезан барельефный портрет зальцбургского архиепископа Адальвина — старчика узколицего, безбородого, безусого и безносого, в дра-

гоценной высоко раструбленной шляпе без козырька и полей, что у твоей Нефертити, — того именно самого, что посадил просветителя хазарского, паннонского и моравского св. Мефодия, кириллицына дядю, на крытку — по статье “за подрывные умышления и действия против будущей (через 92 года) Священной Римской Империи Германской нации и латыни, священнейшего ее языка”: *Бог знает только трем языкам: еврейскому, греческому и латинскому; сейчас учит немецкий.*

“Твое императорское величество, дорогой мистер Цезарь! Господа президенты, короли, премьер-министры и канцлеры! Леди и джентльмены! Братья и сестры! Для всех прочих солнце может всходить на востоке. Для нас, центральноевропейцев, и в том числе и особенно чехов, солнце восходит на западе...” — текст речи пана Индржиха Вернера, единогласно утвержденный городским собранием (при одном воздержавшемся — Яношик Хорват, цыганский депутат от сорока троюродных, семнадцати двоюродных и восьми родных братьев, не считая черных, повсеместно окольцованных цапель-сестер, воздерживается на всякий случай всегда — цыганские интересы противоречивы), был опубликован в “Новинах” и расклеен по всем бронзовым водостокам и чугунным фонарям Жидовской Ужлабины. Уже с месяц, не меньше. Я смеялась, как смеются немые — неподвижно открытым ртом, бульканьем и кряхтеньем из глубины раздутого горла. Ирмгард, оставляя в паркете надрезы, вбежала из ватерклозета для архивариусов вся перепуганная: “Рыбка, ты чего? У тебя истерика, да? Водички принести?” Марженка, переводившая мне Индржихов спич на английский, прислонила смуглую щеку к выгибу кисти, отбеленному и слегка отсиненному контурной картой рек, и спокойно умолкла. “Рыбка, это у тебя наверняка с недоебу. Поехала бы тогда на Мальёрку со мной... ..Ну, ладно, ладно, молчу. Скучные вы, девки,

хоть и ржете, как сивые меринши. Ну вас обеих, лучше я пёздочку добрею пойду...”

И куда только делся Джулиен Голдстин, давно уже, кажется, должен был дома быть: разоблачаться, отвязывать искусственный член с чресл, ребрами обеих ладоней растирать поперечно синеватый, усталый, наголо бритый лобок, мазать указательным пальцем сметану на узкие щеки и лоб? Я еще раз прошелся биноклем по башне напротив. Ох, не к добру это, что он из виду пропал, нехоршее у меня какое-то чувство, баба покойная Катя сказала бы: *томное*.

Якоб-Израиль Каганский, полицейский юденшлюхтского гетто, в знаменитом своем дневнике, перевод с немецкого и комментарии Дж. Голдстин (высший балл по *creative writing* (гарвардский курс лауреата Пулитцеровской премии Эсперанцы Кавалерист), магистерская и бакалавровая степень по *Modern Jewish history* (курс проф. Бенджамина Джихада), годичный грант фонда поощрения еврейских исследований вдовы Годдес, сто шестьдесят девять тысяч проданных экземпляров в твердой обложке) описывает приезд в Юденшлюхт вождя немецкой нации и канцлера Великогерманской Империи Адольфа Гитлера в канун рождества 1938 г. — проездом в Карлсбад, столицу освобожденных Судет. Гетто как такового тогда еще не было — официально его учредили только в ноябре сорок четвертого года, по окончательном заключении Имперского генеалогического управления (*Reichssippenamt*) при Имперском министерстве внутренних дел (*Reichsinnenministerium*) о расовой принадлежности юденшлюхтских хазар. Якоб же д-р. проф. Каганский, не этапированный на восток как ветеран Мировой (тогда еще непронумерованной) войны и кавалер рыцарского креста второй степени (“за Ипр”), был выселен из Берлина по месту рождения и позже (указом

гаулейтера от 14.12.1944) назначен начальником еврейского самоуправления и по совместительству полицейским (Judenschutzmann) с правом ношения оружия в пределах квартала, образованного Ратушной площадью, Судетским переулком (нечетная сторона), улицей Лудильщиков (четная сторона) и — сзади — склоном Юденшлюхтской горы. Но это потом, через шесть еще лет — а пока, в декабре 1938 г., он, заслонившись портьерой, стоит у итальянского окна родительской бывшей квартиры (ордер на отчуждение подлежащей аризации недвижимости уже получен, вместе с новым удостоверением личности, где к Якобу прибавлен Израиль, а еврейское общежитие в башне уже подготовлено к въезду, стараниями будущего хаузмайстера Йозефа Тона) — в бельэтаже над магазином “Франц Вернер и Вильгельм Вондрачек — Французские Сыры и Свинина собственного Воспитания”, бывшая “Гастрономия и Бакалея Каганского”, там, где теперь живет с дедушкой Ирмагд: *Наш маленький город принарядился и помолодел. Каштан по-рождественски в гирляндах цветов и китайских фонариков, везде оживленные лица, оркестр добровольной пожарной охраны, окруженный смеющимися женщинами и детьми, репетирует на площади “Оду к Радости” и “Вахту на Рейне”. И в сердце робко расцветает надежда. Политическая мудрость и взаимная готовность к компромиссу все же одержали победу. 29 сентября с.г. в Мюнхене цивилизованное человечество наконец-то признало, что больше не может односторонне поддерживать чехословацкое государство в его политике дискриминации и угнетения немецкого народа Судет. Мирный процесс будет трудным и болезненным, поскольку его, несомненно, станут торпедировать экстремисты, но мирный процесс не остановить уже никому!*

Борьба за мир у нас в крови! — висел у нас в актовом зале, в уголке солидарности с борющимися народами Азии,

Африки и Латинской Америки, собственноручно изготовленный Тимофей-Михалычем Заяичко (по трафарету на кумаче) лозунг.

В дедушки Каганского рукопись, найденную в Цинциннати, был, среди прочих вырезок, выписок и засушенных каштановых листьев, вложен обрывок страницы, судя по всему, из учебника для начальных классов, но без выходных данных (стр. *App. II-viii*, факсимиле, под ним английский перевод публикатора):

Гитлер в самолете

Над городом гудит большой самолет. У него три пропеллера. Это самолет, где сидит Гитлер. Все люди, все дети в Германии хотят увидеть и услышать его. В самолете он быстро везде.

На летном поле ожидает полиция, ожидает СА и СС и много-много людей. Все хотят посмотреть, как Гитлер прилетит в самолете.

Вот — как огромная птица по синему небу летит самолет. Он становится все больше и больше, все громче и громче гудит. Теперь он почти у земли. Вот он катит по летному полю. СА и полиция становятся по стойке “смирно”. Выходит вождь. Медленно проходит он мимо строя бойцов СА и серьезно смотрит на каждого. Потом поднимает руку для приветствия.

Далее Якоб Каганский цитировал (одобрительно) британского премьер-министра лорда Невилля Чемберлена (*“Гарантия мира для нашего поколения”*), размышлял о преступности и аморальности самого основания Чехословакии в результате решения держав-победительниц в Мировой войне и неизбежности ее исчезновения с карты, поскольку под прикрытием демократических и правовых государственных структур уже двадцать лет как происходит ограбление и вытеснение чешскими на-

ционалистами и панславистами судетских, богемских и моравских немцев, но также и других меньшинств — словаков, венгров, евреев, цыган, о “Фаусте” Гете и “Преступлении и наказании” Достоевского как прообразах противостояния римско-германской Европы и византийско-монгольского Востока (*фаустовский человек* против орды *Раскольниковых*). Для меня специально ничего интересного. Только на стр. 13 — первое упоминание юденшлюхтских хазар (которых Каганский именует то *мадьярами*, то *еврейскими цыганами*, то просто *лудильщиками*): *Старый Левинский, мадьярский раввин, что на их диалекте, причудливой смеси немецкого, чешского, древнееврейского и еще десятка неизвестных мне языков и наречий, называется “галлах”, на днях, говорят, заявился к г-ну барону фон Юденшлюхту, председателю местного отделения Организации освобождения Судет, с просьбой помочь возвращению лудильщиков-мужчин (те, как всегда, спустились на заработки и, как всегда, безо всяких бумаг, а весной, возвращаясь, столкнутся с неожиданной новой границей). Барон, по всегдашней своей (мне непонятной) благосклонности к этому позорящему цивилизованное еврейство отсталому, дикому, цепляющемуся за свои человечесоненавистнические ритуалы, не желающему приобщаться к европейской культуре племени (не иначе г-н барон до сих пор еще полагает себя до некоторой степени их союзником), обещал — при условии, что в день приезда фюрера из оставшихся в Юденшлюхте лудильщицких жен, стариков и детей на улице и носа никто не покажет. Но соблюсти баронское условие оказалось непросто. На стр. 39 описывается, как в разгар дефиле (добровольная пожарная охрана, пенсионеры в брезентовых комбинезонах и сверкающих касках с древнеримскими гребнями, прошла уже мимо каштана, следом за ней двинулся голоногий гитлерюгенд в декабрьских пупырьках) к сапогам сидевшего на складном стульчике под одноименным каш-*

таном Гитлера упал со стрелой в горле мальчик Давидек в мохнатых белых штанах и суконной жилетке, расшитой стеклярусом, — то ли с верхушки каштана, то ли с какой-нибудь крыши, толком не заметил никто. Огромные светло-рыжие пейсы обвили Давидековы лицо и бритую наголо голову. Оркестр смешался, гитлерюгенд сбил шаг. Охрана с пистолетами наголо побежала врассыпную по площади. Гитлер неподвижно сидел, ссутулясь, вздрагивающие руки на сведенных коленях. Барон фон Юденшлюхт наклонился к нему из-за спины, что-то сказал — Гитлер кивнул.

С чешской стороны въезжает на площадь “мерседес-бенц G3a” командирский открытый 1933 года выпуска — весь бежевый с золотыми ручками, как ванна в американской гостинице. Из него, поворачивая короткую шею внутри алой рубахи без воротничка, стоит по грудь колесом Карел Готт и открывает сверкающий рот. В программе торжеств он значится открывающим номером (*Пражский соловей К. Готт. Песня на музыку из кинофильма “Доктор Живаго”, исполняется по-английски, немецки и чешски*) и встречен вставаньем оркестра, взволнованным колыханием девкиных мяс и облегченным шляпомаханьем шофетов. Один из вертолетных прицелов отклонился на площадь, сопровождал Карела Готта краткой дугой, затем возвратился ко мне. Свободной от бинокля рукой я послала ему поцелуй — воздушный, двуперстный.

Стрелявшего не нашли. Под оконным проемом последнего яруса башни лежал на полу арбалет, сломан выстрелом. Йозефа Тона, хаузмайстера башни *in spe*, вызвали в полицей-президиум на допрос, но вся добровольная пожарная охрана и весь гитлерюгенд засвидетельствовали его нахождение в публике, встречавшей рейхсканцлера (а как не заметишь, голова Йозефа Тона вытарчивает с

подбородком над шляпами и фуражками всякой толпы, если это не общее собрание игроков НБА), а доктор фон Юденшлюхт дополнительно к этому — его известное всем слабоумие, не говоря уже о немоте. Фюрер и канцлер уехал в Карлсбад слегка недовольный, но присвоив Юденшлюхту звание “город немецкого воссоединения” (“die Stadt der deutschen Wiedervereinigung”), вернулся же лишь в декабре 1944 г., на демонстрацию в узком кругу (Йошка Геббельс, Герман Геринг, Генрих Гиммлер, иерусалимский великий муфтий Мухаммед Амин аль Хусейни и еще один сдержанный штурмбанфюрер, похожий на молодого Болконского) разработок зондергруппы СС “Бумеранг”. По этому случаю Юденшлюхт получил новое звание — “die Stadt der deutschen Hoffnung”, “город немецкой надежды”. Бумеранговский бункер, где происходила таинственная демонстрация, Якоб-Израиль Каганский строил своими руками — белыми руками б. профессора высшей математики, органической химии и римско-германского права. Сначала как простое бомбоубежище для арийского населения, потом, после освобождения Праги от чешских захватчиков, Юденшлюхту присвоили *I категорию противовоздушности*, и бункером занялись по-настоящему: особопрочный железобетон, финские каменщики, строившие укрепления линии Маннергейма, французский специалист по статике, старичок такой в белой панаме, помогавший проектировать Эйфелею башню. Наезжал еще (вахтовым методом) метростровец в юнгштурмовке, специалист по глубинной проходке (под землей этажей было вдвое больше, чем над), подземный орел Кагановича. К лету сорок первого года бункер был совершенно готов: из Берлина подкатили ученые люди с охраной на трех “хорьхах”; в инкассаторском железном фургоне из Терезиенштадта привезли двух старых евреев, полторы тонны книг и бронированный сейф.

В Приложении 6 к дневнику цинциннатского дедушки (со стр. *App. VI-xxiv* по стр. *App. VI-xxxiii*) приводится переписка американского и советского правительств (до сих пор еще, собственно, не рассекреченная, но благодаря любезности Государственного департамента США, *которому здесь выражается глубокая благодарность*, предоставленная в распоряжение публикатора) по поводу обмена части г. Юденшлюхт, находящегося в советской зоне оккупации, на определенный горный район с определенными рудниками (в том числе и с рудником номер три дробь четырнадцать, позже подаренным ЧССР имени Клемента Готвальда). Обмен совершился к поздней осени 1945 г., досталась ли американцам та башня или не та, в книге не сообщается и не известно.

ГЛАВА 17

У ПРАВОГО ВСЕГДА НЕПРАВЫЙ ВИНОВАТ

Тому назад около года, едва я доехал сюда, едва, наступая на юбку и с сердцем, бьющимся в горле (триста девяносто все же ступенек!), вскарабкался по башенной лестнице и обрушился под торшерный глаголь на тахту, как явились — запыхались, но не запыхались — близнецы абиссинского негуса, пропащие хуи-побратимы Полурабинович и Корольштейн: познакомиться с талантливой соотечественницей и пригласить ее, то есть меня, почетною гостьей на торжественный прием в еврей, имеющий состояться 13 января 1993 г. в церемониальной зале Юденшлюхтского замка при участии официальных лиц (имелись в виду бургомистры-шофеты), представителей дружественных религий (настоятель Пелегржиновой катедралы отец Адальвин Кошка, “галлах Катц” на местном диалекте немецкого) и всех наших добрых соседей (под последними, выяснилось, подразумевались баронесса Амалия фон Юденшлюхт-Дорофейефф, у которой юденшлюхтский горсобес арендует ползамка под общежитие, и нянечка Али, усатый то ли пакистанец, то ли

типа того в трехъярусной синей чалме и в белом, под горло застегнутом кителе — всегда у баронессина кресла за спинкой, толкает и разворачивает, толкает и разворачивает). “А другим почетным гостем, чтобы вы не скучали, Юлечка, — ничего, что мы вас так называем, мы же вам в отцы годимся? — будет видный американский ученый и писатель, мистер Джулиан Гольдстайн”.

По парадному случаю отомкнули парадную лестницу Юденшлюхтского замка, на ступеньках курили привезенные из берлинского распределителя кандидаты в евреи в кооперативной одежде со множеством блесток и надписей. Действительные же евреи, ветераны девяносто первого года — Полурабинович и Корольштейн в концертных парах при бабочках на резинке, Иннокентий Викентьевич Хабчик, такой интеллигентный, что не только кофе, но и какао склоняет в мужском роде, старик Голоцван со старухой, грузин Казанава, Марк Израилевич Половчинкер, пишущий в газету “Русская мысль” под псевдонимом “Марко Поло” заметки о венецианских карнавалах и китайской торговой политике, супруги Перманент Яков Маркович с Лилей и еще несколько прочих — стояли на верхней площадке с европейскими лицами и разговаривали о чем-то своем, европейском. Сверху шла смугло-розовая (вокруг глаз и на запястьях — до обугленности) девушка в шерстяной серой кольчуге от подбородка и до колен, двигая мне навстречу выдвинувшимися из рукавов руками. Узкокостная чистая сухость ее скул и запястий, блеск ее сросшихся на переносице коротких бровей, матовость ее глаз были прелестны. За девушкой высился (но и ширился тоже) великан с неподвижно-улыбчиво-круглым лицом, прокуренные волосы пострижены под небрежный горшок. Девушка доставала ему по нагрудный карман комбинезона, я — при 182 сантиметрах — едва по плечо. Я показал себе на правое ухо и поднял большой палец, потом на рот, сжал плечи и развел руками. “Die ist ja stumm,

aber nicht taub, — как из пушки раздалось у меня за спиной. — Лапа, ты же немая, но не глухо. Праально я въехала?” Так я познакомился с Ирмгард и Марженкой, подругами женского года.

— Она только недавно как онемела, — переводила Ирмгард листочки, которые я вырывал из блокнота с адмиралтейским корабликом, — из-за личного потрясения, и языка жестов не знает... ..Ой, лапа, тебя, наверно, снасильничали, точно!? Меня тоже в восемьдесят пятом году в Ярославле, у нас в общежитии, чуть не снасильничали три негра из Демократической Республики Гвинеи-Бисау и Островов Зеленого Мыса — во-от с такими! Я тогда тоже чуть дара речи не лишилась. Еле спаслась! ...Как? А я им так дала, комсомолкой-доброволкой! Но ни у одного баклажан не встал, ей-богу, бля буду! — Ее пухлые красноватые плечи тряслись в полупрозрачных оборках, толстые белые пряди кружились на голове, как веселые змеи. Марженка то смотрела на меня сочувственно, то на Ирмгард внимательно, то оборачивалась к отцу и шевелила перед ним пальцами. Глаза Йозефа Тона время от времени прикрывались мягкими безресничными веками.

Ударил обеденный колокол — двери церемониальной залы открылись. Джулиен Голдстин уже был там, в негритянской парадной форме одежды: бейсбольная шапочка назад козырьком, семицветная (в кислотных тонах) рубаша навывпуск, вздутые наждачные штаны с карманами везде и невероятно ушастые кроссовки на воздушной подушке. Марженка, заведя мне под локоть жаркую шепоть, подвела познакомиться. Я протянула ему руку дощечкой, он мне — лодочкой.

Всё это было вскоре за тем, как вавилоняне, разоренные изнурительной войной с Персией, захватили, в надежде на богатый дуван, одно побережное княжество Аравийского моря. Прочие аравийские князья и князьки, вос-

трепетав, взмолили о подмоге могучих властителей Запада, а также (больше чтоб откупиться) наняли за наличные небольшие отряды сириян и египтян. Могучие властители Запада покряхтели-покряхтели да двинули легионы. Устарелые вавилонские колесницы и летающие верблюды не выдержали сравнения с колесницами и верблюдами у противника, а босые крестьяне, палками согнанные в месопотамское войско, при первом же движении сытых и вымуштрованных черно-белых наемников разбежались кто куда мог. Тут же открылись у них в Вавилонском царстве моровое поветрие, трус и глад, а северные и южные провинции, подстрекаемые коварными персами и медоточивыми легатами цезаря, затеяли отложиться и подняли смуту. Все было как всегда. Первый поход эпохи вечного мира склонялся к победоносному окончанию. Я, еще в виде мужчины с хазарскими прозрачными усиками, не соединяющимися на середине губы (как у Чарльза караима литовского Бронсона), с медленной ковбойской походкой (Джон Уэйн?) и с перекосенными очками на пухлом и плоском лице, кочевал тогда по Великой Империи Запада — по малым городам и каменным весям провинций Счастливой (или Ближней) Германии — декламировал громкопышные оды и сладостные звуком элегии умиленным старушкам и ветеранам русской кампании в креслах-каталках (за спинками их, непроницаемо улыбаясь, стояли усатые пакистанцы или типа того в тугих синих чалмах и белых, наглухо застегнутых кителях), после аплодисмента старушки поднимали указательный палец и с искренней убежденностью в том, что мне этого хочется так же, как им, спрашивали, а скоро ли, наконец, Скифопарфия, двояродная моя родина, единственная в истории империя, самораспустившаяся по недоразумению, сотрется — бесследно и окончательно — с карты (ветераны молчали и счастливо морщились, вспоминая плен). Я отвечал, неловким движением опрокинувши бюст пол-

нощекой Паллады: никогда, забирал нетяжелую стопку денариев в джинсовом мешочке, ночевал ночь в пронизанной уличным голубым и красным светом гостинице, седлал своего хазарского конька и двигался дальше. Неудачное время я выбрал для европейского чёса — всякий себя уважающий и еще не прикованный к креслу житель не в литературное кафе шел и не в библиотеку районную слушать моих рецитаций, а, волнуясь транспарантами и знаменами, тек на центральную площадь своего населенного пункта. Постояв восемь часов плюс перерыв на обед, толпы расходились, оставляя по себе сотни тысяч оберток от жевательной резинки, картонных стаканчиков и разноцветных бумажек с надписями “Цезарь — убийца!”, “Нет крови за мускус и амбру!” и “Да здравствует филистимское освободительное движение во главе с товарищем Голиафом!”. Из боковых переулков выползли мусороуборочные машины с выдвинутыми нижними челюстями, в которых что-то вращалось, на подножках стояли в флуоресцирующих красных жилетах усатые пакистанцы или типа того.

В Ежегоднике Института Центральной Европы и Африки за 1992 г., который у Голдстина полуразрезанный валяется на тумбочке у тахты, я проглядывал статью “Уроки Вавилонской кампании с точки зрения повышения внутренней управляемости заморских провинций и протекторатов”, подписанную инициалами J.G. *Реакция западноевропейского образованного и полубразованного обывателя (West-European intellectuals) на представление местными средствами массовой информации событий в Персидском заливе требует от новой династии при подготовке следующих военных кампаний учтения специфики неанглосаксонских протекторатов. Рекламное оформление военных действий должно быть разработано не по американской модели, но с использованием исторических межкультурных, межконфессиональных и межплеменных отношений в этой части империи. Для коллективного созна-*

*ния американцев виноват всякий, угрожающий интересам Америки. Каждое из европейских племен располагает своим собственным набором “дурных народов”, враг не может быть назначен полностью произвольно, но только предложен из “суммарного списка”, получаемого в результате наложения отдельных списков “дурных народов” — напр., сербы, русские, евреи. Западные европейцы обладают очень долгой исторической памятью, которую из чувства самосохранения тщательно скрывают, в том числе и от самих себя. При поверхностном контакте легко может возникнуть впечатление, что вся история до 1945, в крайнем случае до 1939 года является в их коллективном подсознании неким рассеянным облаком, но это, конечно, не так. J.G. рекомендовал(а) далее позаботиться о создании на подготовительной стадии в среде мнениеобразующих словес (но не в высшей администрации местного самоуправления, это могло бы вызвать в политическом классе протекторатов опасные иллюзии) убеждения в том, что инициатива военных действий исходит не от Цезаря и Сената, но от них, европейцев, имеет исключительно моральные обоснования (“у правого всегда неправый виноват”, уместно цитировался баснословный баснописец откуда-то оттуда) и лишь с большим трудом преодолевает сопротивление американского правительства — равнодушного и эгоистичного. Все народы и земли, закачавшиеся в силовом вакууме после неожиданного и экспертами не предсказанного распада Скифопарфянского Союза, включить в нашу Империю мы, разумеется, не сможем, заключал(а) J.G., слишком сильны историко-культурные идиосинкразии основной группы романских и германских племен против племен бывшей византийской сферы влияния, но продвинуть линию пограничных укреплений (*Limes Romanus*) на восток и на юг нам придется, причем по той же самой причине. О естественных границах и оптимальном административно-территориальном членении Центральной, Восточной и Южной Европы см. нашу статью*

“Планы административно-территориального и государственного устройства Европы в рамках Тысячелетнего рейха (по архивным материалам Рейхсканцелярии из фондов Государственного департамента и военной разведки)” в следующем выпуске Ежегодника. Но следующего выпуска нигде не нашлось — ни в книжном шкафу, ни на столике туалетном, ни под кроватью и даже ни в чемодане с запасными частями эбонитовых мужеств.

...На торжественном приеме в евреи я сидел в первом, почетном ряду (на дубе, злате и малиновом бархате) — справа Джулиен Голдстин, шевелящий протянутыми в бесконечность кроссовками, слева, в проходе, приятно оживленная баронесса Амалия фон Юденшлюхт-Дорофейефф. За стрельчатыми окнами горело январское солнце. Штандарты Габсбургов, Гогенцоллернов и Юденшлюхтов висли с балок, заштрихованные паутиными нитями. Шпалеры пузырились, изображая какие-то темные битвы. Под попузный портрет не то Бисмарка, не то Коля высеменились две пожилые певички, заслуженные артистки Кабардино-Балкарии мадам Полурабинович и мадам Корольштейн, похожие на глубоко декольтированных уточек. “Веселится и ликует весь народ”, — сказал Полурабинович в микрофон. “Или в переводе на язык двоюродных подосиновиков: “А гиц ин паровоз”, — подхватил Корольштейн. — Музыка Глинки, слова Мартинеца, пардон, Кукольника”. Баронесса фон Юденшлюхт-Дорофейефф зареготала и с нечеловеческой силой катанулась взад-вперед по проходу. “У-у, жидяры, — тихо-грустно молвил мужик в задних, кандидатских, рядах и положил наколотое лиловой снежинкой (руна “Хагал”, символ веры и верности) предплечье на переднюю венскую гнутость. Из снежинки рос седой редкий пух. — Нигде не спастись! Еле из Совдепии унесли от них ноги, а они, блин, и здесь достают”.

Из “Хомячьего рая” выходит Али с чем-то, завернутым в ориентальную, как бы рукописную газету — по размеру судя, с цыганским мышом для сбивания сисечной массы. С ума, что ли, сошла баронесса? Все равно Джулиен Голдстин ее не полюбит, пусть и не думает. Джулиен Голдстин любит только мужчин, потому что если не мужчин, то кого же? А во-вторых, когда я пару раз ездила в Карловы Вары — присмотреть себе новую юбку и по еще одному, неважному делу (*как ежик*), то я его там издала видела в эротическом центре “Svoboda” (общество с ограниченной ответственностью “Liberty Live Ltd”, владельцы Адольф & Ева Свобода, Мюнхен—Карлсбад): под пальмой в Розовой гостиной — на коленях у немецкого пенсионера, похожего на Джона Эдгара Гувера с сигарой и в лифчике. “Знаменитая личность, — за угостить беломоринной, привезенной из б. Ленинграда, нашептал мне младший подносчик гондонов, дезертир Группы войск по неожиданному для его белобрысости имени Яшенька. — Гастролер из Америки. Специальность — моргунчик. Щекочет по уду ресницами, пока не спустишь. Но редко работает, забобон — раз в неделю, не чаще. И не разболакается никогда. Немчура пескоструйная записывается за полгода”.

...Когда спели “Веселится и ликует весь народ” и каждый из шофетов сказал по взволнованному спичу на непонятных мне языках, по проходу к президиуму, огибая Али с баронессой, поползла живая очередь кандидатов. Корольштейн с Полурабиновичем поздравляли, Вондрачек ставил городскую печать, Вернер вручал грамоту. “Имя, фамилия? Еврейские обычаи-традиции соблюдали? Поздравляю. Имя, фамилия? Еврейские обычаи-традиции соблюдали? Поздравляю. Имя, фамилия? Еврейские обычаи-традиции соблюдали? Поздравляю”.

В очереди чинно читали (толстые книги из всех областей знания: от монады до трихомонады, а также цвет-

ные журналы “Плэйжинка” и “Плэйчоловик”) и степенно вели разговоры (“Сами-то откуда будете?” — “С России”. — “Да нет же, Россия это раньше была, при Советской власти. А теперь вы откуда считаетесь — с Украины, из Латвии, из Москвы?”)

... — Фамилия, имя.

— Драйцун Людмила Петровна.

Сердце мое удивилось, но не узнало тонкие руки и умную голову с хвостиком.

... “Иннокентий Викентьевич, удивительно, до чего же вы по-немецки хорошо шпрешете. Филфак, наверно, кончали?” — “Что вы, Ядвига, кто бы меня в университет принял, с инвалидностью по нашей графе. Я просто восемь лет на шпиона учился, в училище одном профессионально-техническом — в Новом Иерусалиме, знаете, под Москвой? Но не сдал выпускного экзамена. Запутался в двенадцати видах разрешения на местожительство. А то бы давно уже здесь был...”

... “Слышь, Костик, а, Костик? Ты уже эту, как ее, спаржу тут ел?” — “Ел. Было вкусно, но не до такой степени, чтобы все бросить и пойти за ней на край света...”

... “А я тебе, Яков Маркыч, скажу на это так: каждый выкрест есть Гитлер замедленного действия!” — “И Мандельштам?” — “И Мандельштам”. — “И Пастернак?” — “Особенно Пастернак!” — “А вот и нет — Пастернак был как раз некрещеный, я в “Огоньке” интервью с его сыном читал, Евгений Борисычем. А Мандельштам в лютеранство крестился, для университета просто, можешь мне как специалисту поверить”. — “Много ты понимаешь в колбасных обрезках, Яшище. Это Пастернак настоящий был выкрест, с отбойным молотком и погромным Живагой, а Мандельштам... почти не был”.

ГЛАВА 18

КРАСОТА СЛОМАЛА ЧЛЕН

Нянечка шагает по площади — на негнущихся внутри шаровар кривоколенных ногах — в сторону оркестра, каштана и *катедры* с шофетами. На чалме его проявляются косые темные черточки — дождь. Из-под земли выросли трое коренастых в костюмах с искрой, перегораживают дорогу, кратко подбрасывают ладони к мокрой пустой голове. Нянечка улыбается непроницаемо сладко и приоткрывает кулек: нет, не сисечный мыш никакой — хомяк золотой, палестинский (*mesocricetus auratus*). Трое козыряют еще раз — мезокрикетусу ауратусу, расступаются, проваливаются сквозь землю (неужто не все еще заварены люки?). Али доходит до пограничных воротец с псевдогоготическим *Willkommen!* по верху. Осторожно прислоняется к штанге плечом. Палевый рот его полуоткрыт. Длинный, слегка кверху изогнутый средний палец с квадратным, ослепительно розовым ногтем поглаживает хомяка по женскому лобику. Хомяк томно смыкает хохлацкие очи.

— Не знаю, лапа, — шепотом орала Ирмгард с угрожающе скрипящей стремянки, месяца полтора это было назад. — Я так считаю — ну, просто лесбиянка она! А то кто?! Хэхелей у ней никаких нет — отродясь не было! — я ж ее как облупленную вот с таких вот сыкух, мы с ней картошку копали в трудлагере гэдээровско-чехословацкой дружбы, каждый год осенью начиная с третьего класса. И кто только не подъезжал к ней, и наши немцы, и ихние чехи — всех кинула, даже Хорвата-цыганенка хорошенького, а он-то уж у нас всех и каждую отымел. Пацаны говорили: потому что блядь, а я так думаю — нет, шалишь, лесбиянка. Но на меня никогда не лезла. ...Да где же она, папка твоя, задевалась, зараза?! Ты шифра не перепутала? ...У нас в Ярославле татарка была в общежитии, из Петропавловска-на-Камчатке Юмашева Роза такая, так она на меня глаз положила. Прихожу с танцев в малафье по уши, а она у меня в койке лежит, сопит под одеялом и ежится, “Ирочка, — говорит, — холодно что-то”. Я ей говорю: “Розка, ат-ыбись!” ...А может, она с отцом, с дядей Тоном живет, ты как думаешь!? А что, бывают такие случаи, очень даже просто. Вот у нас в Ярославле... ...Да вот она, сука, сзади за полку залезла, как сука! — Торжествующий переливчатый вопль сотрясал коридоры архива, я не знал, чьи мне ноги держать — стремянкины или Иркины. — Не, старуха, нашими с тобой сосисами туда не проткнуться. ...Grethe, komm' mal her!!! ...Пусть лучше она ковырнет, пальчик-то тоненький. — И Ирмгард подло захихикала с высоты. Но архивное дело, содержащее отчет следственной комиссии юденшлюхтской городской прокуратуры об убийстве Аврама Левински (1873 г. р.) и братьев Лео (1880 г. р.) и Иеремиаса (1881 г. р.) Хаззан, 9.11.1945 г. в 4 ч. 13 мин. пополудни найденных с перерезанным горлом в выработанной шахте рудника номер три дробь четырнадцать, даже и тоненьким пальчиком с глубоко и ровно обкусан-

ным ногтем зацепить не удалось. Я держал Марженку (поверх прозрачно-молочных колготок) за маленькие лодыжки, точно улетающие, теплые и полые внутри, и жмурился от сладковатого сухого ветра из-под ее поколенного свитера, то открывающего, то закрывающего подколенные впадины, в их выпрямлении и натяжении похожие на туго обвернутые марлей струнные грифы, а противовесно-упорная Ирмгард сидела на нижней ступени стремянки с лицом оживленным, как бы умытым и сквозь белоснежную кожу слегка красноватым, как это бывает у женщин, которые только что хорошенько побрились. На шум-переполох появился брошенный Марженкой в нотариальных актах XVIII века Голдстин и спросил: “Can I help you, girls?” Отвернул кружевные манжеты, сдвинул на затылок узкую шляпу с загнутыми кверху полями и со шпорным постукиванием полез по лесенке выпррь, сокращаясь и удлиняясь, как элегантный питон. Мы с герлами, щекоча волосьями шеи, следили его восхождение. Вытянулся, стоя на левой ноге (а правую помахивая), изогнулся дугой, по плечо запустил руку за папочный ряд. “Here it is! Just a moment”. Все еще на одной ноге, быстро перелистнул, еще раз, еще; чихнул в расцветающем облаке пыли — правая нога, ищущи ступеньку, зацепилась зубчатым колесиком шпоры за краешек, стремянка медленно перекачнулась и немедленно рухнула. Следом, постояв с приподнятой ногой в тускло-желтом архивном воздухе, рухнул и Голдстин. За ним — на него — стеллажи с выливающимися архивными делами, кроме тех, что мы с Марженкой и Ирмгард подперли лопатками. “Scheisse”, — сказала Ирмгард, забыв русский язык. Когда она его через пару часов вспомнила, мы сидели в приемном покое травмпункта жидовскоужлабинской горбольницы, отбеленные неоновым светом. Ирмгард, и так белая, даже потемнела слегка и светилась сквозь себя, особенно на голове, как рентге-

новский снимок. “А видала, когда брюки срезали, какой у него болт из трусов?! Как у негры! — Марженка скосила наполненный искрящимся зрачком глаз на показанный Ирмгард размер рассерженного налима и не то чтобы усмехнулась — она и не усмехается никогда, — но в ее маленькой прямой переносице сдвинулась и раздвинулась еле заметная вертикальная складка: мы с ней давно уже, посовещавшись, решили не усложнять Иркину картину мира подробностями голдстиновской физиологии. — Да еще стоит, елки! Это от боли — девчонки из медучилища рассказывали, у нас в Доме офицеров в Ярославле на танцах: от боли, бывает, встает. Но везучий, блин, как утопленник, точно? Мог и шею сломать, не хуй делать!”

Дело, содержащее отчет следственной комиссии об убийстве Аврама Левински и братьев Лео и Иеремиаса Хаззан, при подъеме стеллажей и расстановке рассеявшихся по коридору единиц хранения так и не обнаружилось. Только недель через шесть, позавчера ближе к вечеру, когда Голдстин внезапно уехал в Карлсбад и до сих пор не приехал (с загипсованной ногой он подорожал на пятьдесят восемь марок с полтиной за академический час, как срочно сообщил по телефону в архив беломорман Яшенька из эротического центра “Svoboda”), я у него в студии случайно наткнулся на заткнутую под матрац папку. Переписанные на машинке (с покосившимися единицей и тройкой, со сползающими под строку умляутами и с заглавной F без нижней палочки) показания б. лейтенанта 3-го батальона 7-й добровольческой горнострелковой дивизии СС “Принц Евгений”, приставленного к охране объекта (жирно зачеркнуто), Игнаца фон Теки, с апреля 1942 по ноябрь 1944 года стоявшего на квартире семьи Козаржик. Будучи дунайским швабом из Воеводины, Игнац фон Тека свободно владел разговорными венгерским и сербским, благодаря чему был в состоянии понимать разговоры Козаржиков между со-

бой. Вопрос следователя военной полиции США капитана Питера Б. Стоута (Peter B. Stoat): *То есть диалект, на котором они изъясняются в быту, вы бы назвали венгерским?* Ответ: *Не совсем венгерским. По грамматической основе, хотя и несколько упрощенной, особенно в смысле количества падежей (всего только семь), и по базовой лексике — несомненно венгерским. Но с сильной примесью славянских, немецких и принадлежащих неизвестным мне языкам слов.* Лейтенант, как следовало из его приложенной автобиографии, закончил греко-романское и финно-угорское отделения филологического факультета Белградского Королевского университета и в смысле языкознания был подкован на все четыре копыта. Вопрос: *Перечислите членов семьи Козаржик.* Ответ: *Старый Аарон Козаржик, Юдита Козаржикова, его сноха, Дьюла и Тамарка, дети-подростки. С мужем 2-жи Козаржиковой, Козаржиком Аттилой, я лично никогда не встречался, в течение всего указанного времени он, как и прочие мужчины, был мобилизован на работы в рудник № (жирно подчеркнуто).* Вопрос: *Можете ли вы охарактеризовать внешность, быт и склад ума ваших хозяев как еврейские?* Ответ: *Трудно сказать (“Хер его знает”, — перевела Ирмгард с листа емкое немецкое “Jein”). Лица широкие, белые, глаза голубые, ресницы и веки белесые, волосы рыжеватые, слегка вьются. Поведения сдержанного. Неразговорчивы. Если и евреи, то не такие, с какими я сталкивался.* В январе 1942 г. лейтенант фон Тека, тогда еще штатский, принимал участие в совместной операции германских и венгерских войск при участии хорватских, немецких и венгерских добровольцев из числа местных жителей в южнопаннонском городе Нойзац, там и сталкивался (? — подчеркнул я загадки таинственным, но нуждающимся в маникюре ногтем. — “Neusatz? А, это город такой, Новый Сад, в бывшей, как ее, этой, остаточной Югославии”, — пояснила Ирмгард, на пару секунд заве-

дя зрочки вверх, как будто у нее там, со внутренней стороны ровного лба, было что-то написано).

“Если и евреи, то вряд ли”, как сказали Полурабинович с Корольштейном, пропащие побратимы с горы, изучив бумаги семейства Трикотенко из Харькова.

Культурных предметов, типа семисвечников, свитков Моисеева Пятикнижия, кровейборных устройств и т.п., я у них ни разу не видел. Но вечером в пятницу, после бани, они нарезали ломтями хлеб, шторили окна, гасили свет, когда свет был, и, покрывшись с головой одеялами, сидели во мраке, не отзываясь ни на какие вопросы — до вечера следующего дня. Что действительно намекает на их принадлежность к еврейскому племени, так это гигиенические представления: нижнюю одежду носили, никогда не снимая, даже и в бане, носили, пока не сожлеет на теле и сама не спадет. Примечание П. Б. Стоута (лиловыми чернилами, по-английски): Еще А. Гитлер в “Его борьбе” отмечал, что евреи отнюдь не являются друзьями воды. Вопрос: Известны ли вам убитые? Ответ: Так точно, знакомы по внешности. Поэтому я их сразу же опознал, как только наткнулся на трупы. Все трое, вместе и по отдельности, во время войны часто приходили к старому Козаржику в гости. Летом в кепках, зимой в круглых вязаных шапочках. Всегда в покупных пиджаках и домотканых штанах, заправленных в мягкие сапоги до середины икры. Садились на корточки в большой круглой комнате, называвшейся “зало” и совершенно пустой, сидели так часами — молча курили из коротких глиняных трубок смесь самосадного табака с сушеным каштановым листенъем, пили, чашку за чашкой, пряный травяной сбор, забеленный молоком овечьим или козьим. Потом расходились. Иногда читали (не вслух) или просто держали в руках, наклоняясь и супя лбы, какие-то замусоленные листки. Листки были

покрыты странными знаками, отчасти похожими на хороватскую глаголицу с о-ва Крк. Но лишь отчасти. Ближе всего к схематическим изображениям повернутых в разные стороны телефончиков. В руках я их не имел, только издали видел. Вопрос: Что вы делали на месте обнаружения трупов? Ответ: Собирал шампиньоны. Там в отвалах бывают по 2—3 кг весом, я таких огромных никогда не видал. Далее подробно прослеживался оборот шампиньонов из юденшлюхтских рудничных отвалов — в американской офицерской кантине (где сейчас зоомагазин, а до того было отделение народной полиции ГДР) за них давали тушенку, чулки и сигареты, а те в свою очередь в советской зоне менялись на бензин и на водку. Вопрос: Сталкивались ли вы ранее с похожими случаями умерщвления? Не известны ли вам какие-либо тайные организации бывших нацистов, например в лагере военнопленных, где вы живете, которые могли быть за него ответственны? Ответ: Лично не сталкивался. Но мне рассказывали специалисты у нас в замке, в смысле, в лагере — люди из бывшего разведотдела нашей дивизии, что у этих, у местных, у самих есть такой обычай: поздней осенью дети и старики в течение трех дней пытаются поубивать друг друга, кто сколько сможет. Вопрос: Вам действительно кажется, что мне можно рассказывать подобные майсы (“Чего ты так смотришь, лапа? Так тут написано: Majsses, я ж не виновата!”)? Вы что, принимаете меня за младенца, г-н фон Тека? Ответ: Никак нет, г-н капитан. Но я и сам слышал, они не знали, что я дома, я уходил, потом возвратился за трубкой и слышу из прихожей — г-жа Козаржикова говорит сыну: “И чем ты целыми днями занимаешься только, лайдак! Пошел бы лучше какого-нибудь немца убил!” А он ей: “Немца и без меня Бог убьет, а кто убьет старого Аврама?”

Всего лишь страница номер четыре, а Ирмагд уже заскучала, поглядывает в оконную тьму, перебирает надо

лбом отсыревшие макаронинки, хочет пить чай и разговаривать про Мальёрку. Того гляди вернется из ратуши бургомистр Вондрачек, взволнованный завтрашним (сегодня уже сегодняшним) визитом Великого Августа, и станет ругаться, что мы с Ирккой не ходили с собакой. Да и пора уже было идти снова к Голдстину в башню, папку относить ему назад под матрац. Я вытянул у Ирмгард из рук, перегнул вдоль пополам, а затем, начиная с последнего, один за одним стал выпускать в распрямление желтые, слегка трухлявые листы протокола. На последнем, двадцать шестом, свежими красными чернилами и почерком Голдстина по нижнему полю было написано: *Mr Ignatius Tecka, Widow Goddes Jewish nursing home, app. 13, 424 West 44th Street, New York, NY 10036 USA!!! The guy is alive!!!* На странице 17 несколько строк были в середине отчеркнуты оранжевым маркером. Вопрос: *Значит, вы, проклятый колбасник* (Ирмгард затруднилась, в тексте было по-английски — “you fucking kraut”), *все же считаете военную полицию Соединенных Штатов детским садом, которому можно рассказывать всякие сказки?* Ответ: *Никак нет, г-н капитан, не считаю. Но я и своими глазами....* Вопрос: *Что своими глазами?* Ответ: *Г-н капитан, я давал обязательство... Не нашим — вашим! ...Пожалуйста, не по яйцам... слушаюсь!.. Год назад, перед приездом фюрера в декабре сорок четвертого года, в районе рудника проводились полевые испытания (жирно зачеркнуто). Мой взвод был назначен в охрану. Из Гофа пришел трофейный Т-34 и, стреляя, пополз по карьере. (Жирно зачеркнуто) шел ему навстречу и светящимся дыханием поворачивал снаряды и пули обратно, на русский танк. Это было страшно. Посреди карьера они встретились — танк с покореженной броней и одной подбитой гусеницей и (жирно зачеркнуто). Обеими руками (жирно зачеркнуто) взялся за пушку и выдернул ее с корнем из башни. Затем вспрыгнул на броню и стал топтать танк ногами. Через несколько*

минут от танка и сидящих в нем четырех пленных танкистов осталась мятая чугунная плита, она и сейчас там лежит, можете сходить посмотреть, если не верите. Стало странно тихо. Сквозь черный и белый дым начало пробиваться солнце. (Жирно зачеркнуто), переминаясь, оглядывался на двух (жирно зачеркнуто), стоявших на терриконе с поднятыми руками. Как полагалось по плану испытаний, старший офицер охраны приказал им опустить руки. (Жирно зачеркнуто) не двигался. Затем офицер выстрелил каждому в затылок. Ноги (жирно зачеркнуто) стали подгибаться, он задрожал. Тут из-за каких-то кусков и пригорков выползли две группы местных, два подростка и шесть стариков, и, не обращая на нас и на (жирно зачеркнуто) никакого внимания, стали медленно поднимать друг на друга самодельные арбалеты. (Жирно зачеркнуто) двинулся сначала к одним, потом к другим, потом колени его задымились и задергались, он стал обмякать, оползать, пока не обвалился и не рухнул весь наземь — бесформенным куском дымной окровавленной глины. Арбалеты екнули. Один подросток и два старика упали, по остальным был открыт с террикона огонь на поражение.

ГЛАВА 19

ХАУЗМАЙСТЕР И ХАУЗМАРГАРИТА

Публика начинает потихонечку подтекать — из переулков сползаются сутулые куртки. Фургон CNN распахнул серебристые двери, оттуда вылезли операторы в многокарманных серебристых жилетах и пошли в разные стороны по Трехратушной площади, тяня и толкая на колесных треногах укрытые пленкой черно-блестящие камеры — за ними, извиваясь, поползли разноцветные шланги. Чешская школа, огибая аквариум автобусной остановки, построена уже на своей стороне за каштаном повозрастно и поростно; немецкая, напротив, строится еще напротив — учителя мечутся как очумелые и хлопают учеников свернутыми “Юденшлюхтскими новостями” а) по рукам — чтоб не держали по швам, а в карманы засунули, б) по ногам — чтоб одна назад, под бедро, а другая коленкой вперед, в) по спине промежду лопаток — чтоб расслабили и слегка перекосили хребет: был приказ по Империи: *be cool*. Детский сад (городской объединенный, с немецким языком воспитания) останавливается (держась за веревочку, в другой варежке — плас-

тиковый полосатый флажок) у триумфальной калитки — рядом с нянечкой Али и сожмурившим глаза хомяком. На ратушных ступеньках расселись мужские цыгане, все от мала до велика в одинаковых пиджаках бурых в косую полоску и в огромных морщинистых сапогах, ослепительно начищенных самодельной ваксой — Гонза наклонился к депутату цыганскому Яношику Хорвату, что-то ему возбужденное шепчет на левое ухо, пронзенное двумя золотыми колечками. Яношик Хорват сделал из пальцев противотанковый еж над надолбом в районе мотни и кивнул государственно-мужественно егерской шляпой с грачиным пером. Я думаю о Марженкиной красоте, цепящей меня, и о нашей с Ирккой некрасоте, меня до сердечного сжатия забавляющей, и вообще о том, что есть красота? — *сосуд, в котором пустота, иль пустота, которая в сосуде.* Я думаю о “Войне стариков и детей”, к которой у меня набралось тринадцать килограммов архива и ни одной написанной строчки — за год в башне. И о том, куда мне после Юденшлюхта податься — к папе с мамой в Нью-Йорк, к дяде Яхуду в турмалайскую тундру (ассистентом на кафедре новейшей хазарской истории) или же в б. Ленинград к символисту Цымбалисту и пустым преображенским могилам. “С ума сошла, девка? Ехать в Союз! — подымала Ирмгард круглые брови, натертые наилучшей сажей Парижа. — Не зырила, что ли, по ящику в октябре месяце, как они там в Москве прям из пушек пуляют?! Усратья и не жить! Поехали лучше на Мальёрку со мной — наши там испанцы задвигатели не хуже вашей гурзы, дрючат все, что шевелится! У тебя когда виза кончается?” Немецкая кончается с декабрём, но на Чехию мне пока что (пока не закончено строительство нового Лимеса!) визы не нужно — перебегу площадь и буду в законе. Но что Чехия? Как печально говорил (встряхова сединою у плеч) неизвестный двухметровый старик в полукедах на босу ногу, в ленгоршвейских *texa-*

сах и в стройотрядовской куртке (на спине растресканная трафаретная надпись славянской вязью: ЛГУ. СУХОНА-82. с/о "Химик") поверх голого, красно-бурого, на груди будто круто посолённого тела, который (в начале восьмидесятых годов еженедельно по пятницам) заходил в каждый книжный и каждый канцелярский магазин на Литейном и Невском, ставил на прилавок колоссальный рюкзак с чем-то многоугольно-бренчащим, спрашивал книжки-раскраски, все, какие в наличии, и, внимательно каждую рассмотрев, возвращал: *Это я уже раскрасивал.*

В окошке архива поясные Марженка с Ирмгард — значит, пришли уже (почему я не видел, как Марженка неподвижно и прямо едет по площади на мелко подсакивающем велосипеде?), значит, включили уже свет, баварское радио и вечнобурлящий кофейник, вделись в архивные тапки с помпонами из заячьих хвостиков (д-р Вондрачек, бургомистр Юденшлюхта, дедушка Иркин — великий охотник на зайцев, на кротов с таксой (такса русская, короткошерстая, из медалистского помета, а по имени Чуча, подарена в 1987 г. председателем Добровольного общества охотников и рыболовов бывшего породненного аула Ягудное в б. Азербайджанской ССР Дувидовым Я.Ш.), а также на вальдшнепа, гаршнепа, кроншнепа и еще на какого-то "горного дупеля", иначе называемого "отшельник-бекас"). Ирмгард слегла на подоконник всеми своими выкаченными из рюшей грудями ("Как же я тебе завидую, Юлькин, что ты такая доска, а на мои-то на буфера ни одно приличное платье не влазит!"), высунула пухлые, ослепительно-голые руки наружу, под морось ("Не, солнышко, руки, губы и щеки у меня не обветриваются ни при какой погоде — хочешь, научу? — и у тебя не засевереют ни в жизнь, надо только регулярно малафьей мазаться, испанской или азербайджанской, но чехи, марамой и арики тут, учти, не годятся:

не та жирность!») и сильно машет: левой дедушке вниз, правой наверх, в сторону башни — мне. Углядела-таки, белокуруная бестия! С нею рядом вполоборота в пунктирном кресте моего окуляра стоит Марженка — неподвижно и прямо, чуть в глубине; неподвижное прямое лицо ее не выражает ничего. В августе я был у них дома, в наглухо зашторенной дворницкой Юденшлюхтского замка, приехал когда из Америки и не обнаружил под подворотным камнем ключей. В ратуше, запертой по воскресному дню, на мыки и стуки не отзывался никто, Ирмгард, я знал, еще не вернулась с Майорки, город был пуст, как белая мексиканская руина из вестерна, и так же пронзительно вылощен солнцем. Я засунул чемодан под полувыветренный из *вусмерть* ожидавленной почвы корень каштана, прикрыл его разворотом бесхозных “Жидовскоужлабинских новин” со следами ежиного пикника и, подламываясь на лодочках сорок второго размера — американских, практически канонерских, пошел вниз, в замок. Из сверкающе-чешуйчатой горки фонтана выходила радуга, не имеющая конца. Йозеф Тон сильными движениями подметал вокруг, будто гонял по манежу большое желтое облако. Марженка в суровом сарафане, каком-то, я бы даже сказал, *сарафандре*, стояла на крыльце служебного флигеля, до исчезновения колонн и мраморных щербатых младенцев обвитом мохнатыми розами. “Ахой, — сказала она. — Будеш обедвать?” Я шагнул за ней в дом и вздрогнул от блаженного холода в ноздрях и во лбу, от блаженного полумрака на веках. Квартира была вся в одну бесконечную комнату: метров сто пятьдесят или двести. Низкие стены свежоштукатурены, но с длинно проступающей волглостью. Мебелей никаких, кроме овального столика, накрытого на троих и под крахмальной скатеркой до полу — далеко у противоположной стены, перед экономно горящим камином. Я соскреб об порог канонерские туфли и двинулся постепен-

но коченеющим босиком через чермное сверканье паркета. По дороге я с облегчением думал о том, какой же я молодец, что успел-таки до отлета сделать педикюр в Гринвич-Виллидже — в русских терминах “Golubchik”. Марженка неслышно шла сзади. “Просим”, — сказала она. Я не оглядываясь сел к столику и развернул на коленях льняную салфетку. Но сразу обедать не дали. Сначала Йозеф Тон (снявший сапоги и клеенчатый фартук) с Марженкой (накинувшей кофту) сыграли дуэтом второй акт “Волшебной флейты” в переложении для аккордеона и виолончели. Марженка, как ни странно, на аккордеоне, Йозеф Тон, шевеля рыжим ртом, немо выпевал все партии. Я же пока разглядывал тарелки: на донце беспросветный розовый куст, густо-темно-зеленый в листве, мохнато-желтый и алый в развратно развернутых розах, по ободу — мягким золотом бесконечно повторенный орнамент моих детскосадовских варежек; чем-то мне это казалось странно знакомым. Йозеф Тон высвободил из-под подбородка виолончель, осторожно прислонил ее изогнутый корпус к своему прямому и наклонил голову. Я изо всех сил захлопал. *Хлопки жидки, потому что жидки хлипки*, как говорил мой троюродный брат Джек Капельмейстер-Голубчик, капельмейстер Метрополитен-опера и совладелец банного салона “Голубчик”. Марженка улыбнулась (первый и последний раз, что я видел) единственным сжатьем ноздрей, повесила аккордеон на отцовскую руку с воздетым смычком и куда-то ушла. Я быстро приподнял тарелку: так я и думал — согнутый локоть с мечом. В стрельнинском доме был такой же сервиз, разрозненный (привез дедушка из командировки, году в сорок восьмом) — три мелкие тарелки, три глубокие, соусница, салатница и какие-то еще перечницы, хренажницы и солонки неопределенного назначения. Баба Катя называла его “накося-выкуси” и недолюбливала за недостаточно аристократическую рас-

цветку. Екатерининская сеточка казалась ей *благороднее*. Из полумрака (точнее, из трех четвертей мрака) беззвучно выступила Марженка и легко поставила на середину стола гигантскую супницу. Супница дымилась, розы и листья на ней запотели и покрылись каплями, золоченые ручки встуманились. Я вернул тарелку на место. “Порцелан эльбогенский, — сказала она. — Bohemian china factory in Elbogen. In der ehemaligen Stadt Elbogen, heuer heisst es Loket”. Тыканьем в тарелку и в грудь, а также отрывочным писаньем в отрывной блокнот с маленькой статуей, можно сказать, со статуэткой Свободы в правом верхнем углу каждого листика, я кое-как объяснил, что у меня-де дома в б. Ленинграде были такие тарелки из бывшего г. Эльбогена, ныне называемого (долго ли еще?) Локет, с такими же розами, листьями и орнаментом. Не знаю, зачем так старался. “Really? — спросила Марженка. — Fine!” и, снявши с супницы крышку, серебряным уполовником начала накладывать мне макароны по-флотски. После обеда стали оставлять ночевать, показали (отдернули занавесь, которую я не с ходу заметил) альков с балдахином на витых стойках (по обе стороны от семиспальной кровати неожиданно ярко вспыхнули плоские ночные плафоны). Йозеф Тон колол по атласным перинам ладонью без линий, прикладывал (не касаясь) щёки к подушкам и радушно мычал. “А сами-то где?” — смушался я чисто по-девичьи. На смеси немецкого, чешского, английского и глухонемого мне объяснили, что по ночам Йозеф Тон все равно обходит замок и парк с заклепанной ижевской двустволкой и колушкой 17-го века, одолженной частным музеем баронессы Амалии, размещающимся в подвальном этаже ее половины. Задача — шугать злоумышленников разного рода: цыганских детей, норвящих заглянуть в общежитские окна, дезертиров из Группы войск, стремящихся проникнуть в кладовку, одичавших эсэсовских стариков из дивизи-

зий “Кавказ” (чеченцы) и “Шарлемань” (французы), сорок восемь лет хоронящихся в заброшенных шахтах под бывшей нейтральной полосой, румынских искусствоведов с отмычками, зловредных рудногорских гномов, ну и вообще, мало ли, все равно у него сна нет. А мы с Марженкой тут как миленькие прекрасно уместимся.

Но я отказался. Как представил себе, что *свет в чепеке погас* и я лежу рядом с Марженкой, с ее неподвижным, смугло светящимся изнутри, прямым профилем, и только рукой проскользнуть по бесшумному атласу к прямому темно-золотому плечу, и — весь ужас неловкости и позора. А вдруг она и действительно... как Ирмгард-мерзавка нашептывала... и сама первая просунет светло-золотую узкую руку?... Вдвойне будет неловко и позорно вдвойне! Поэтому я притиснул ладонь к сердцу (определив его — чтобы не сбить новые американские титьки — в районе основания горла), отказался (о чем и по сегодня вспоминаю, перед тем как заснуть — с мгновенным ожогом под ложечкой и мгновенно вскипающими от неловкости и позора глазами) и пошел ночевать к Перманентам, обменявшим, как я знал, на барахолке в Карловых Варах две теннисные ракетки “Динамо” на нерусскую раскладушку с матрасиком — вдруг Лилин меньшей брат, *дурошлеп* и *охламон*, все же одумается и подъедет в Европу. Марженка проводила меня до порога и приложила на прощанье свою твердую сухую ладонь к моей левой щеке — никогда раньше и никогда после мы не соприкасались с ней кожей, мы ведь и рук-то нежимаем при встрече, потому что не немки. Подержала секунд несколько, медленно отняла (как будто медленно уронила, прошелестев по шее, по ключице, по локтю), я обулся и ушел — с нежно обожженной глиной щеки.

А вот и Йозеф Тон постепенно (сверху вниз, поскольку снизу вверх, из-под крутого спуска) появляется на ули-

це, ведущей из Германии в Чехию. Сначала голова неподвижная, желтая, потом комбинезон выцветший, синий, потом сапоги пятьдесят шестого размера, жестяные. Идет-не-сгибается, кисти покачиваются чуть пониже коленей. За ним гуськом в тусклых куртках и ворсистых пальто: средний незаконченный Иннокентий Викентьевич Хабчик и Ядвига Бржезинская-Шапиро, профессиональная лилипутка из невинномысского шапито, старуха Голоцван без старика (так, значит, и не сыскался, бедняга), грузин Казанава, торгующий у карлсбадского казино казинаками, и его две племянницы, Жанночка и Анжелка, Марк Израилевич Половчинкер, автор статьи “Курия — наш рулевой”, Люся Драйцун-Каценеленбоген с осенним букетом и мужем, Даниилом-расточником шестого разряда, Костя Гиншприг с гитарой, не вдовы ли уже, упаси бог, Полурабинович и Корольштейн с плакатиком “Welcome” одним на двоих, Перманент Яков Маркович с женой Лилей и близнецами Кирюшей и Мефошей, харьковская семья Трикотенко и три их ангорских котенка, курящая бабушка Клавдия Брониславовна Рыбокоть... — прочие не подтянулись еще, карабкаются (парами и по одному) в крутую булыжную горку.

ГЛАВА 20

ДВАДЦАТЬ ГРАНЕЙ РУССКОЙ НАТУРЫ

Русские умны. Широко распространенное мнение, что “евреи умные, а русские талантливые”, верно с точностью до наоборот, пользуясь идиотически емким инженерским жаргоном. На самом деле евреи народ довольно глупый в смысле начального и окончательного соображения процедур и понятий (в том числе и бытовых), но довольно способный к их немедленному практическому применению (со-ображению) в не до конца осмысленном виде, т. е. быстрый. Русские же до всякого вывода и до всякого действия доходят умом, и до тех пор, пока каждый из них по отдельности не додумает все до конца, делать ничего он не станет, по крайней мере добровольно.

Русские — индивидуалисты. В отличие от думающих и чувствующих колоннами европейцев, не говоря уже об американцах, с младенчества и до предельных семнадцати лет организованных в подростковые банды (communities) с жестко определенными ритуалами поведения и картинами мира, русские совершенно неспособны к существованию в

коллективе. Больших индивидуалистов от природы, чем русские, не существует. Поэтому в России “предержавшие” исторически были принуждены к массивному принуждению индивидуума в коллективные схемы поведения. Иначе никакая государственная и никакая хозяйственная жизнь не происходила бы. На Западе такое давно уже не нужно: коллективному человеку можно дать индивидуальную свободу мыслить и действовать — он ею все равно не воспользуется.

Русские миролюбивы. Русские не любят воевать. К насилию по натуре склонны европейцы, что легко доказывается долгими столетиями непрерывной резни, не говоря уже о двух мировых войнах, ими затеянных. Русская армия всегда была армией штатских, не интересующихся военной профессией людей (казаки, как известно, не русские, а чувбастые потомки хазар). Поэтому воюют русские всегда одинаково — бесконечно долго раскачиваются, уклоняются, отругиваются и отстреливаются, как бы не понимая, зачем это все, когда уборочная на носу, терпят сокрушительные поражения, потом разъяряются и крушат все вокруг, не обращая внимания на потери — ни на свои, ни на чужие. Так было в семнадцатом веке, так было в двадцатом, так будет всегда. Способ ведения войны является одной из основных культурных констант. Немцы всегда будут образцово начинать: лет двадцать осторожно готовиться, выигрывать сражения, брать города — и всегда это будет кончатся чудовищным разгромом, если противник хоть чуть-чуть в состоянии сопротивляться (т. е. не француз). Американцы всегда будут из безопасного далека-высока стирать с лица земли все, что шевелится, а потом приземляться в руинах с шоколадом и кока-колой для однуруких детишек.

Русские ненавидят спиртное. И кто только эту гадость придумал?! — обычная приговорка держащего двумя

пальцами граненый стакан. Придумали ее западноевропейские монахи. Пьющие русские ненавидят спиртное и его вкус больше непьющих. Все прочие народы пьют, чтобы согреться или развеселиться (народы, пьющие, чтобы согреться, отличаются от народов, пьющих, чтобы развеселиться, тем, что первые согрелись, а вторые развеселились). Русские пьют, чтобы остановить (хоть на время) терзающую их непрерывную работу ума.

Русские беззащитны перед стихами. Россия — единственная страна в мире, изменившая свое название (Рóссия, что соответствовало обычному виду названий стран на -ия в русском языке, ударение корневое — Франция, Италия, Англия), чтобы оно лучше попадало в ямб торжественной оды XVIII века, особенно на конец строки, и ловчее рифмовалось. (Россия точно рифмуется на прилагательные женского рода множественного числа — “огневья”, “роковья” и т.п.)

Русские терпимы, т. е. довольно равнодушны к чужим верованиям и образу жизни. В середине XVI века они завоевали татарские княжества, а мечеть и ныне там, вещь в западноевропейской истории немыслимая. Поволжские и сибирские племена камлали как хотели вплоть до советских времен: московские приказы интересовались только мягкой рухлядью ясачной, а расселявшимся по Сибири крестьянам и в голову не приходило заняться массовым “просвещением язычников”. Петербургская империя и советская власть, будучи европейскими по происхождению идеологическими и политическими моделями, пытались внести в русскую жизнь эту западную нетерпимость (организованные сверху погромы, государственное разной степени вялости притеснение инославных и иноверных, экономические и юридические меры, поощряющие выкрещение иудеев, потом, после того, как выкресты эти сделали

революцию, — воинствующее безбожие), но особым успехом все это в результате не увенчалось. Еще в середине XIX века Русскую православную церковь укоряли (отдельные православные интеллигенты) в небрежении миссионерованием идолопоклонников, и даже в советские, в этом (да и во всех прочих) смысле наиболее вестернизированные времена у русских не удалось надолго укрепить равнодушные к тому, что думают и во что веруют другие. Западным европейцам такое понять трудно — сами они почти два тысячелетия подряд воевали друг с другом и с окружающими по разного рода религиозным поводам и причинам, несчетно народу поубивали в сражениях и при осадах, судебным и погромным порядком покалечили, пожгли и утопили. Нынешняя западная терпимость (впрочем, тоже довольно воинствующая) связана просто с тем, что за века религиозных войн и преследований ревнителю и ратоборцы повырезали друг друга или (в случае сект) побегали в Америку или в Россию, а сегодняшние жители в большинстве своем являются потомством тихих мещан, имеющих ту веру, которой в настоящий момент держится непосредственное начальство, или никакую, если никакой специально не требуется.

Русские брезгливы. Русские не доверчивы, русские не ревнивы, русские брезгливы. Они удушат Дездемону не потому, что им жалко дать хорошему человеку попользоваться, не потому, что они полагают нарушенными свои права собственности, святость доверия или святость брака, а из брезгливости. К чистоте всего, что непосредственно не соприкасается с их собственным телом, русские равнодушны. От всего, что соприкасается, требуют абсолютной стерильности (поэтому и не любят трогать чужую грязь руками). Зайдите с общей лестницы в частную квартиру. В Европе раньше было чисто все, что видно со стороны — людям, а все, что не видно, свинее свиначника (см. путевые записки Фонвизина). Теперь — во всеобщепрозрачной, мебиусов-

ской Европе — все со стороны, все видно, поэтому все более или менее чисто (для наведения чистоты приходится ввозить отовсюду рабов, одевать их в флуоресцирующие красные безрукавки и называть их иностранными согражданами и беженцами).

Русские не знают, что они русские. Русские думают, что они европейцы, что они евразийцы, что они христиане, что они интеллигенты, что они социалисты и т.д. Первое и самое распространенное из названных заблуждений укоренилось в русском образованном и полуобразованном классе (благодаря трем векам петровской империи и советской власти) так прочно, что уничтожить его можно только вместе с Европой.

Русские не знают, что нерусские их не любят. Русские, как и евреи, думают, что коли их кто-то не любит, так это за что-то и почему-то — что-то они не то сделали, кого-то обидели, неправильно себя повели и т.п. Ни тем, ни другим и в голову не приходит, что не любят их вообще, поскольку никто никого, а особенно некоторых, не любит. Поэтому и те и другие все время ужасно стараются сделать все правильно, как требуется, и поскольку все время получается, что ничего не получается (в смысле, что все получается, но любят их в результате не больше, а еще меньше), очень переживают и винят во всем свою злополучную натуру. У русских и евреев вообще очень много сходных качеств (за вычетом разной конфигурации ума и инстинкта) — в первую очередь из-за того, что и русские, и евреи не народ, не раса, не культура, а нечто вроде отдельного человечества, внутри которого много народов, рас и культур. Им бы и жить на отдельных планетах.

У русского бесконечное множество личностей. Русские наглядно опровергают распространенную гипотезу

об одной-единственной личности, якобы отпущенной на человеческую особь. Лишь у американца действительно только одна, единая, единственная личность (потому что размножение личностей начинается, как правило, по переходе в половозрелое состояние, каковая фаза у американцев никогда не заканчивается). У европейца несколько (конечное число) личностей — три, четыре, семь, функционально приспособленных для различных социальных и биологических ситуаций и по их наступлении и окончании включаемых и выключаемых соответственно. У русского — бесконечное множество личностей (в математическом смысле — нечеткое множество), которые все толкаются и теснятся в передней сознания. Возрасты, состояния, даже национальности. Поскребите русского, обнаружится татарин. Но поскребите этого татарина, и под ним обнаружится француз.

Русские всегда недовольны. Недовольны не своей жизнью в частности (это уж у кого как), а окружающей жизнью вообще и охотно на нее жалуются, особенно иностранцам (те в свою очередь охотно верят). Причина: русские оценивают жизнь по сравнению с раем, о котором всё знают, как будто они уже там побывали. Институциональным заместителемрая может служить то прошлое, то будущее, то заграница, то деревня, то коммунизм, то капитализм — в зависимости от исторических и личных обстоятельств. Или скажем еще проще: русские сравнивают с раем Россию и то, что она не совершенно похожа на рай, наполняет русских печалью и злостью.

Личная честность и соблюдение законов — мания русских. Поскольку государственные законы российские всегда составлялись без учета русской природы, полностью выполнять их на практике — как русские ни стараются — всегда было и остается совершенно невозможным. Поэто-

му русским приходится изобретать для практического употребления собственные законы. Даже русские воры, чтобы воровать честно, изобрели для себя своды законов и придерживаются их неукоснительно. Мнение, что в России воруют, основано на недоразумении: взять казенное, т. е. ничье, — не воровство, а находка.

Русские разговаривают непереводаемо. Русский письменный можно перевести на другие языки не хуже и не лучше любого другого. Русская устная речь, напротив, совершенно непереводаема, поскольку русские общаются между собою не с помощью выраженных словами и предложениями коммуникативных элементов, служащих для сообщения определенной информации, а посредством устных иероглифов, не имеющих никакого видимого назначения, — смешных случаев из своей и чужой жизни, литературных цитат, поговорок, прибауток, песенок и словечек. Русский мат — только частный случай этой иероглифической коммуникации, с помощью которой русские прекрасно понимают друг друга, испытывая при этом невыразимые сложности при коммуникациях обычного, прагматического вида. Всякий, кто пытался договориться с русским о чем-либо конкретном, это знает.

* * *

Остальные семь граней являются тайнами, раскрытием которых не рискую. Но при фронтальном взгляде они все равно не видны.

САТИРА ЧЕТВЕРТАЯ
ИЮЛЬ–АВГУСТ
ДЕВЯНОСТО ТРЕТЬЕГО

*My story is history,
Your story is mystery.*
School rhymes¹

1 Моя история — историческая,
Твоя история — химерическая.
Школьный фольклор (англ.)

ГЛАВА 21

АМЕРИКУ ОТКРЫЛА КОЛОМБИНА

Всю ночь перелета “Прага, Рузине — аэропорт им. Гая Ю. Кеннеди” я не смыкал глаз. Гордость “Ческих”, б. “Ческословенских авиалиний” — полупустой “Боинг”, одолженный у “American Airlines” под залог здания б. федерального парламента на Вацлавской площади, мелко дрожал: стирался, видимо, брюхом о стиральную доску трансатлантических облаков. Из иллюминатора дуло, хотя не могло. По полутемным проходам бегали цыганские дети, предлагая позабавиться в туалете с их усатой прабабушкой, что было обманом — двум соблазненным допризывникам из бизнес-класса, летевшим изучать римско-американское право в Колумбийском университете, приставили к пуховым кадыкам перьевую авторучку “Лжепаркер” и нагадали пустые казенные хлопоты по марьяжному интересу. Проданные в НХЛ гладиаторы из Спарты и Славии гремели цепями, сосали зеленую бехеровку из квадратных бутылей и кричали *до того* бомбардировщикам Б-52, встречным уплотненным теням. Потом, обняв клюшку, засыпали. А я не мог. Хасиды в лись-

их малахаях и шелковых черных халатах вызывающе Мессию молились на курящих местах. А я не умел. Иногда, выдавливая цыганят из прохода, прокатывались позвякивающие силуэты тележек, движимы пневматической силой накрахмаленных стюардессиних сисек? — начинало пахнуть запеканкой капустной по-южноморавски. Ветхий летами поляк (в моем ряду через кресло) все пересаживался с одной волнистой ягодичной кости на другую и со втягивающимися длинными вздохами оглаживал горообразно темнеющий между нами баул — купил он ему, что ли, отдельный билет? Близнецы-допризывники — не возвращаться же в бизнес-класс заплаканными — опали в ничейные кресла передо мной. Один все грозился пожаловаться дедушке: “Сядем, в Москве сколько будет? Я сразу дидусю отзвонюсь в министерство — пускай пишет в Парижский клуб ноту”. Другой тихо бурчал нечто более реалистическое, про *пацанов* из батянина пражского офиса, которых-де следует откомандировать с целью отмщения обидчикам по четвертое колено включительно, а *красная ртуть, блин с икрой*, обождет. Абитуриенты шмыгали, всхлипывали, бормотали — и засыпали, упершись друг в друга подбритыми затыльными косточками. А мне не удавалось. Возможно, мы садились, и выходили в простроченные трассирующими огнями нейтральные зоны, и возвращались в низкопольных автобусах на летное поле, и снова взлетали — точно не помню. Едва рассвело, роздали американские въездные квиточки — внимательно прочитать и заполнить. Поляк протер порозовевшие, как у мыша, очи и спросил пана меня, понимает ли пан так же, как он, что Постановлением Цезаря и Сената на территорию метрополии категорически воспрещается ввоз всех и всяческих продуктов питания — твердых, жидких, рассыпчатых и газообразных. Пан я подтвердил. Газообразные продукты питания долго веселили поляка, он ироничес-

ки шевелил пескоструйными усами, похлопывал по верхушке баула и посвистывал то в одну сухощавую ноздрю, то в другую, пока его не пронзила внезапная мысль: он вытянул из-за пазухи полуметровую палку краковской колбасы и показал ее мне. Я кивнул. Несколько оторопелых мгновений пан поглядывал то на меня, то на колбасу, держа ее перед собой десятью распрямленными пальцами — осторожно, как флейту, потом шумно вздохнул — теперь уже с выдохом — и вдруг вгрызся. Усы его медленно летели по обеим сторонам колбасы, как белая птица. Шкурка двумя серпантинами ползла на пиджачные лацканы. Через тринадцать с половиной минут по моим командирским из палки была выгрызена и бережно помещена в целлофановый мешочек статуэтка Ченстоховской божьей матери. “Матка бозка”, — уважительно сказал поляк и кинул мешочек в баул. Талантливый народ эти паны, ничего тут не скажешь.

Встречал меня папа, а его привез на “лендровере” Джек Капельмейстер-Голубчик, троюродный брат и бывший Вергилий по подростковому хождению на блядки (как *тот ежик*). Я увидел их из очереди на досмотр: маленький папа в майке-сеточке, холщовых штанах и дырчатых сандалетах, все куплено в 1973 г. на кисловодском толчке, и огромный пузан Капельмейстер в льняной кремовой паре и колониальной панамке, едва прикрывающей красную, влажную, как бы свежескальпированную лысину. Прохаживаются вдоль ограждения (с лицом дальнорюк-отсутствующим, как у всякого ожидающего), смотрят то на часы, то в никуда (что, конечно, одно и то же). Я привстал на цыпочки и замахал над головой злато-малиновым паспортом несуществующей Скифопарфии, но зафиксирован не был — поляк-заслонитель двадцать семь уже кряду минут пытался втолковать “пану офицеру иммиграционному” в сбитой на затылок

многоугольной фуражке: “Мадонна! Мадонна!” Офицер долго рассматривал статуэтку, все дальше отставляя ее по *обширному, как облако* (Лесков, потом Вахтин), животу, одетому голубой (на плечах, под мышками и вокруг пу- па — темно-голубой) рубахой с неисчислимым множест- вом погончиков, карманчиков, надписей и нашивок, по- том вытряхнул ее из мешочка, понюхал, лизнул и, реши- тельно затряси щеками и лбом, отложил куда-то глубо- ко за себя: “Doesn’t look like her at all!”

— Знаешь, дядя Яша, кого я в аэропорту видел? — спро- сил Капельмейстер, притормаживая заплатить подорож- ную подать. — Жульку, цинциннатских Гольдштейнов девку. Тоже в Европы моталась, задрыга. Ну, ничего, мы в декабре “Мадам Баттерфляй” в Улан-Батор везем. Пе- ресадка в Париже.

— Это которых Гольдштейнов? — с заднего сиденья, сквозь хруст недельной свежести “Советского спорта”, прикупленного мною в Праге, равнодушно спросил па- па. — Нины Соломоновны внучка или этих племянница, из Днепропетровска народных бандуристов УССР?

— Да нет же, тех, совсем дальних, семиюродных. С после войны тут живут, утекли из Ивано-Франковска тогда еще, как польские подданные. Мы их искали через Красный Крест, когда вы с тетей Наташей приехали. Не помнишь?

Воспоминанье это папу не вдохновило, он промол- чал, отчетливо пошуршав.

— Какая-то с ней история была знаменитая, в газете еще писали. Не то в “Нью-Йорк таймсе”, не то в “Новом русском слове”. То ли она секс поменяла, а родственни- ки ее проклинали, то ли наоборот... Вроде кто-то из них да- же повесился, в знак протеста. Не помнишь? С годик на- зад вдруг звонит ко мне, представляешь? — просится прочитать доклад в ассоциации гомосексуалистов и лес-

биянок — эмигрантов из Совдепистана, она-де слышала, что я президент. Я ей говорю: “Honey, какая ассоциация, окстись, братец! В баню попариться вот приходи, на любых выходных, а ассоциаций-хераций у нас никаких нету, не такие мы люди, организации всякие организовывать. Я — бани президент”.

— Пришла? — вдруг заинтересовался папа.

— А как же. Прилетела специально из Цинциннати, с мочалкой. Но наши пацаны ее разоблачили, что она сестренка, а не братишка. Надавали ей слегка пиздюлей, отобрали искусственный член и прогнали на улицу в чем мать родила. Смеху было на весь Гринвич-Виллидж.

— Fine, — мстительно сказал папа.

— Статую Свободы нужно смотреть с Уорлд-Трэйд-центра, а Уорлд-Трэйд-центр — со статуи Свободы, с макушки. Я с тобой могу на неделе сходить, только не завтра и не послезавтра, завтра я в Коннектикут отъезжаю, у меня там личное дело. Ты сперва куда хочешь?

— Я хочу только в Музей естественной истории и больше никуда. Погоди, еще...

— Ну, это дядя Яша тебя пусть водит. Там у них от ящеров и прочей палеонтологии шибает мыловарней, как на Обводном канале, — я туда брезгаю. Как, Яков Наумыч, сходишь на экскурсию с немецким сыночком? Вас вообще с Брайтона выпустит тетя Наташа или как? Ей же и Кони-Айленд уже кажется Афганистаном и Гарлемом одновременно.

Семь месяцев назад Константин Валерьянович, пражский культур-атташе, кормя меня ужином при свечах и камине в посольской квартире своей, дубовыми панелями и размерами напоминающей Ставку Верховного Главнокомандующего, рассказывал между салатом-оливье и осетриной по-монастырски, что *согласно агентур-*

ных данных, но они уже рассекречены, Юлий Яклич, даже в “Московских новостях” об этом писали, глиняный шмат с чердака Староновой в шестьдесят восьмом году, по личному указанию Дубчека, был тайно вывезен в *ЭфЭрГэ* и передан там американской военной разведке. “Сначала-то его Дубчек сам оживлять собирался, чтоб на наши... на танки Варшавского договора напустить, но не вышло у них, заклинаний каких-то, вероятно, не знали. Ожить он вроде как ожил, но с концами не очнулся”. С авиабазы под Франкфуртом спящего глиняного человека отправили спецрейсом в г. Фифроум, Коннектикут, где его стали будить с помощью военных раввинов. Но так и не добудились, по агентурным сведениям. “Дальше след его, к сожаленью, теряется, а вам что, для пьесы новенькой нужно, да?” Константин Валерьянович осторожно промокнул салфеткой усики в виде маленькой фигурной скобки, лежащей — с некоторым отступом от края — на бледной, слегка оттопыренной верхней губе, и зачем-то прибавил: “Конечно, сейчас, Юлий Яклич, произошла коренная переоценка этих событий, омрачивших традиционную российско-чехословацкую дружбу”.

— Слышь, Капля, я вспомнил — я еще, кроме музея естественной истории, хочу посетить еврейских реликвий. Мне для романа надо. Сходишь со мной?

— Какие у нас еврейские реликвии, тёха?! Ты вообще что имеешь в виду? Любавичского ребе резиденцию? Так там надо записываться за полгода и мажордому с церемониймейстером на лапу давать.

— Можешь ты мне узнать адрес нью-йоркской квартиры Мерилин Монро?

“Лендровер” вильнул огороженным блестящими трубками передом. Сзади и сбоку негодующе загудели и взвели курки вынутых из-под сидений обрезов. Папа проснулся на заднем сиденье: “Яша, приехали?” — “Да что вы, дядечка Яша, мы ж еще даже на Бруклин не съехали.

Мы только с ума съехали, особенно вон сынишка ваш, Великий Писатель Земли Русской, вэпэээр грёбаный”.

— Желаю совершить паломничество к обиталищу еврейской мученицы, злодейски убитой евнухами цезаря, — упрямо сказал я. — Или брата цезаря.

— Но почему еврейской? Почему, почему, почему? — вопил Капельмейстер, перекрывая гудки встречных и поперечных машин, не говоря уже о своей собственной.

— А кто за Артура Миллера замуж выходил и обращался? Ее ж не исключали потом, кажется? Из лона, я имею в виду, Авраама, Исаака и Якова.

— Якова, — проворчал Джек Капельмейстер. — Якова, да не всякого. ...А почему тебе, собственно, не переехать в Америку жить? Просто не понимаю, какого-такого заговенья морковкина ты еще там дожидаясь. Пока турмалаи присоединят город-герой Ленинград к великому финно-угорскому рейху?

— Нет, старик, в Америку я не могу. Мне это опасно. В Америке указом Сената от седьмого девятого шестьдесят первого запрещается употребление более одного прилагательного на одно существительное письменного текста. В некоторых штатах, например в Техасе, за это полагается электрический стул. А стул у меня и так электрический, от канадской клюквы размером с коктейльные помидорчики, которую подавали в самолете “Прага, Рузине — аэропорт имени Кеннеди”. На сладкое.

...”Ну вот, “Зенитушка” наш прокакал опять “Спартакку”. Ох, нету, нету Левина-Когана лысого. И Бурчалкина Левы”, — сокрушенно сказал папа и тихо поскрипывающей темно-розовой челюстью потискал угол газеты. Мы въезжали на Бруклинский мост. Я давным-давно спал.

ГЛАВА 22

АМЕРИКУ ОТКРЫЛА КОЛОМБИНА [II]

Просыпался я от папиной бормашины, точнее, от пылесоса “Вихрь”, включаемого для заглушения папиной бормашины. К двум жужжаниям — в мокрых, заискренных, плотно зашторенных сумерках — добавлялось умозрительно третье: всеношный вентилятор (из дальнего от кровати угла, с лакированной четырехгранной ноги) все еще поворачивал из стороны в сторону зарешеченную свою круглую голову, полную металлических пчел. “Сейчас будет немножко неприятно”, — говорил за стеной папа и врезался в породу. В коридоре взревывал “Вихрь”.

До ухода клиента (сначала из подъезда выглядывала волнистой седой головой мама — проверить, не топчутся ли во дворе фискалы из налоговой полиции или прыщавощекие весталки собесные) я лежал в трудно развеваемой тьме — облепленная простыней пипочка бесконечно отказывалась опадать (*не верь концу, стоящему с утра, он хочет ссать, а не бараться*, такой вечноженственной мудрости научила меня юденшлюхтская Ирмгард) — и с силой водил языком по внутренним нижним

зубам на месте их выступления из десны, по пугающим фрагментам собственного скелета. Я думал о “Войне стариков и детей”, *забойном* романе, имеющем обеспечить мою уже ошутимо недалекую старость; сюжет: в середине восьмидесятых годов в Сосновой Поляне — или лучше в Веселом Поселке — нет, лучше все-таки в Стрельне — банда восьми-десятилетних шкетов убивает восьмидесятилетних (бронзовыми великокняжескими гайками из рогаток с цейсовской оптикой), чтоб не задерживали наступление перестройки и гласности. Или из мистических каких-нибудь соображений (*придумать!*). Пахнущее мокрой собакой подземелье Константиновского дворца... ход из Орловского парка в Константиновский... нетопыри врассыпную... цыгане в морщинистых сапогах ловят в палисадниках ежей на жаркое... бледные, в цыпках-царапках детские пальцы продеты — на манер кастетов — в красные шестиугольные ручки, свинченные с водоразборных кранов... Пенсионер Самородко, бывший артиллерист крейсера “Киров”, создает группу самообороны при жэковской партячейке, ну и так далее, вплоть до решающей и всеистребительной рукопашной у страшного, черного, кривого каштана (нижние сучья обломаны — на рогатки), посаженного 21 апреля 1943 года возле немецкого штаба, в честь 2696-й годовщины основания Рима. Можно будет продать в “Северо-Запад” как *русское фэнтези*, а то, чем черт не шутит, Уолт Дисней Студиос имени Горького возьмут да и снимут триллерок какой детско-юношеский, с Чарльзом Бронсоном в главной роли, с кривоногим литовским хазарином, косящим белобрысые цепи *калашом* от бедра?.. ...Бормашину и кресло наконец-то въезжали в кухонную нишу, припирали ее самопальной дверкой (а на дверке сплошь полки, а на полках сплошь банки, все в потертый красный горошек и все с эстонской надписью “Suhkur”) и протяжно кликали завтракать (очень много оладий) — в извивающиеся цепи беломраморного бело-

морного дыма, под мамин изучающий взгляд. “Может, тебе бороду отпустить? А то какое-то выражение лица у тебя стало... блядское...” Не блядское выражение лица у меня никакое, не блядское, а как было, так и осталось — необщее!

На улицу гулять не пускали — разве что с папой до круглосуточно открытого магазина “ЗАКРЫТЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ — MIKHAIL TRIMALKHIONIDI Ltd”. Краснокирпичные окрестности (ко всем стенкам тройными и четверными коленами приклепаны чугунные лестницы) были в свое время построены для завсегдаев прибрежных кухмистерских имени Исаака Башевиса Зингера (“Варшауер блинцен”, холодец “Костюшко”, *пани Каганьска, филижаночку кавы, прошем*), а ныне заселены исключительно скифопарфянскими пенсионерами (*эвакуированными*, по маминому выражению) — социальные архитекторы вдохновлялись, как видно, Крестами и другими исправительными заведениями б. Российской империи, а также, что весьма вероятно, петровскими пакугазами в ее бывшей столице и фабрикой “Красный треугольник” там же. У магазина стоял “мерседес” с номерными знаками “MISHKA” (на вечном приколе — хозяин, колосющийся усами, бровями и средними фалангами пальцев колосс, никуда отсюда не ездил), а продавали там гречневую крупу полуторакилограммовыми пакетами, варенье из грецких орехов, икру осетровых рыб паюсную в круглых, зеленых, по диаметру слегка заржавленных банках, индийский чай со слонами и *жареную пол курочки*. На главной улице, под продольным метрополитенным мостом, занимавшим три четверти ее неба (блаженная пыльная тень... затрудненное дыхание океана... поезд вверх, страшный, как пикирующий бомбардировщик... — здесь еще можно было вздохнуть и отстраниться спиной от рубашки), встречались через каждые четыре шага папины бывшие сослу-

живцы по поликлинике работников хлебобулочной промышленности: в сетчатых майках, холщовых штанах и дырчатых сандалетах древнеримского образца, как и он. Мы приостанавливались шептаться о зубо врачебном визите — все они по сложному графику ходили друг к другу ставить друг другу коронки. Выпарены заокеанским июлем, но с полными грецких орехов и гречки авоськами мы возвращались к борщу (*сметана, конечно, не с Кузнечного рынка, но есть можно*) и рубленым индюшачьим котлетам; потом я до ужина (каша гречневая, ненавистная, с молоком, *тоже не совхозным, конечно, и очень много оладий*) слонялся (под маминым изучающим взглядом): из кухни в гостиную, из гостиной, где самопроизвольно и немо мелькал телевизор, в уступленную мне спальню — перечитывал “Буратино” и переводил на американский язык, с русско-английским словарем Смирницкого и с телефонной помощью Капельмейстера (“Умом скорбанулся, зараза? — я ж тут “Аидой” стою дирижирую!”), письмо дяди Яхуда в “Нью-Йорк таймс”. *Ladies and Gentlemen*, писал дядя Яхуд с родины Деда Мороза, *как историк со специализацией в области международных отношений я хотел бы поделиться с читающей публикой столицы Свободного Мира нижеследующими соображениями и опасениями*. Нижеследовали опасения дяди Яхуда насчет того, что *Священная Римская Империя Американской нации*, случайно и совершенно для себя неожиданно победившая в холодной войне, может оказаться заложницей собственных данников и вассалов, *лукавых грекулов*, изошренных столетьями поражений, интриг и предательства. “Грекулами” он именовал западных европейцев, упирая на полную аналогию их положения в Американской империи с положением эллинистических ассоциированных государств и провинций в Риме ранних династий. Особые трудности для перевода представляла элегантная дяди-Яшина параллель между зависимостью римских провинций от беспере-

бойной поставки сладкого вина, амбры и мускуса, а также глубоководных мурен, обеспечиваемой легионами цезаря, с зависимостью Западной Европы от бесперебойной поставки невозобновляемых природных ресурсов, обеспечиваемой авианосцами 6-го Атлантического флота, — Капельмейстер оказался несилён в экономической лексике. Отдельно дядя Яков предостерегал против закулисных попыток втянуть метрополию в ненужную ей катавасию на Балканах, где может произойти попытка восстановить границу между католическим и православным мирами, а то и прихапнуть чего, с использованием, как это в прошлом уже не раз и случалось, хорватских наемников, албанских арнаутов и босняцких дивизий СС. Дядя Яхуд слезно молил великий американский народ держать подчиненных ему “грекулов” в ежовых рукавицах (*in the hedgehog gauntlets*), не слушать их демагогии и поступать только так, как это выгодно Империи в целом — это-де будет для всех затронутых, включая сюда и самих “грекулов”, наименьшим из зол. Европейцы, развязавшие две мировые войны и друг другу их проигравшие, уже два раза и навсегда доказали, что, будучи предоставлены сами себе, способны лишь на причинение мировых катастроф. Ни разум, ни совесть им не известны — только страх. Страх — и заискивание перед нефтеносными многодетными мусульманами. Страх — и сладострастие поскорее добить (но желательно чужими руками) подраненного русского медведя, который им кажется сейчас беззащитным. Далее, на основании примеров из европейской истории, начиная с Тридцатилетней войны и кончая Мюнхенским соглашением, дядя Яхуд учил американцев, как им распознать задние европейские мысли: *когда грекул говорит “мир”, “прогресс”, “существование”, знай, о, Американский Народ! — он всегда имеет в виду предательство.* Политическая культура Западной Европы — испокон веку (“Ну как, как я тебе переведу “испокон веку”? — сердился Капельмей-

стер из ямы. — У нас тут “испокон веку” значит “лет этак десять”!) трусость, обман и предательство, раскрашенные гуманистической фразеологией. Подписано было: *Cordially Yours, Ph. D. Jacob N. Derben-Kalugin, Komsomolsk-on-Amur, Russia, проездом в Японию*. На следующее же утро, как будто редакция “Нью-Йорк таймс” размещалась тут же на пляже, метрах в двухстах по деревянному променаду — на Кони-Айленде, мигающем неподвижными ночными колесами и замершими волнами американских гор, в одном из карусельных барабанов погасших, — под родительскую дверь подполз длинный, надпечатанный лиловатыми рунами конверт. *Скажите вашему Яшке вирусному*, значилось старательной кириллицей со всеми прописными хвостами и хоботами, *что в ответ на маляву евонную от 1993.07.28 отдел писем нашей газеты может сообщить следующее: колбасники, лягушатники, макаронники и прочие старосветские подлецики — кенты наши верные, они нас учили держать перо и волюну в руке, а сколько положено — отстегивают, само собой и в общак, и государю нашему цезарю и господам сенату на то болт цаловали, т. е. на вечную нерушимую верность. А коли они нас когда кинуть дерзнут, так мы им мигом очко разорвем: индексы ихние в парашу уроним или крантик им кока-кольный отрубим, чтоб у них страшные судорги и ломки пошли. Без тебя же, лапландский отстой проשמандовый, и без советских твоих советов — уж как-нибудь перетопчемся!* На отдельном листочке с грифом Государственного департамента сообщалось об отказе мистеру Yakov Goldshtein, Rovaniemi, Finland, Nationality — Russian, в выдаче въездной визы в Соединенные Штаты Америки в связи с отзывом Фондом еврейских исследований вдовы Годдес ранее выделенного ему гранта на полугодовую научную работу в фондах Колумбийского университета. “Яков, — сказала мама, — если ты еще хоть один-единственный раз позволишь Юлику впутаться в Яхудовы авантюры, я с тобой разведу!”

ГЛАВА 23

ПИР ТРИМАЛХИОНИДИ

Каждый вечер, едва только упадет темнота, мама выводила нас *подышать воздухом*. Шеренги по восемь эвакуированных дам в чмокающих о доски кроссовках, плиссированных юбках *в горошку* (или польских кримпленовых брюках с искрой), на каждой накидка из меха семнадцати алеутских хонориков (скифопарфянский кооперативный хонутрик был презираем), с мужьями в смутно белеющих холщовых костюмах (шеренгой сзади, но мужей *уже не хватало по восемь*) и карликовыми пуделями (шеренгой спереди, натягивающей и скрещивающей поводки) шагали вдоль Атлантического океана, беседуя о политике, экономике и культуре. “Во Франции даже есть министерство интерьера! А у нас? Один Микки Маус!” — жаловались на американское бескультурье сестры Берия из Батуми. Мама сосредоточенно кивала, глядя под ноги. Только она была не в хонорике, а в цигейке до середины бедра (*стара барыня на вате, через жопу ридикюль*, именовалась у бабы Кати эта цигейка). Похоже было на Зеленогорск в августе или же на Пярну,

отошедшее к незалежной чухне, даром что укреплял его наш Абрам, эфиопский арап Ганнибал. Но только все казалось новее и больше — и море, неслучайно названное океаном, кольцевой однобережной рекой, и пляж, и тьма, и неровно-засвеченные выпуклости облаков на продолговатом, продольно скошенном к окоему небе. Дошедши до незримой границы, туда, в разноцветное сверкание Кони-Айленда, не глядели, но делали поворот по команде *кругом шагом марш* и маршировали шагом обратно, во тьму. Черным пуделям разрешалось забегать за границу, серебристых и белых окорачивали и поворачивали вместе с собой. Шеренга мужей встречно насквозь проходила шеренгу жен и тоже разворачивалась у последней черты. В той шеренге шагал и я (к пуделям меня, как я ни просился, не приняли), слушал уточнения сроков и очередности взаимных зубоврачебных визитов (мои челюсти считались по умолчанию принадлежащими папе, но знаю я его *немножко неприятно*!) и отклонял одно за одним предложения о покупке небольших партий различных товаров народного потребления, в основном гречневой крупы полуторакилограммовыми пакетами, варенья из грецких орехов в завязанных тряпочкой склянках, икры осетровых рыб паюсной и чая индийского со слонами. Товары были с артикулами и ценами перечислены на длинных бумажках, тут же вынимаемых из нагрудных карманов, и не раз уже принадлежали каждому из шагающих. Один только Мона Левинский, присланный на каникулы из Калифорнии внук замглавврача папиной поликлиники, юная широкобедрая карла с левантинской небритостью вокруг глаз, торговал загадочным продуктом, упорно именовавшимся им *quality of life*, а что это было, я так и не понял. Но стоило дешево.

В гостиной родительской всю ночь до утра мелькал телевизор. Выключать его они не то что боялись, *но зачем*

связываться? — вдруг из противостоящего дома какая-нибудь сволочь донесет в ФБР, “Там вон у харьковских гинекологов Бабамуха за портьерой всегда с трубой подозрительной кто-то сидит, на, убедись”, — горячился папа и подсовывал мне дедушкин трофейный бинокль “Карл Цейс” со шкалой расстояний. Почти каждую ночь я сидел к телевизору на *палас* (удвоенный выезжающей трехколесной фанеркой диван был занят беспробудными с нембутала родителями), ровно на то самое, почти что неразличимое в бухарских ромбоидах темно-рыжее пятнышко, оставлено капнувшей с моей десятилетней пипочки кровью, когда дед после десятилетней отлучки внезапно воротился домой, вымылся в ванне, сходил, ко всеобщему изумлению, в синагогу на Лермонтовском и, к еще большему изумлению, привел оттуда раввина в шляпе и обрезателя-моэля в клеенчатом фартуке и тубетейке. *Мужик*, т. е. родители, не говоря уже обо мне, *и ахнуть не успел*, как оттянули, рубанули, отсосали в стеклянную трубочку, щекотным присыпали, морозным пухлым бинтом завязали и запели вокруг, заходили с вином в серебряных рюмках. Потом дедушка бросил к их ногам скомканных денег сто рублей новыми, лег на тахту и не отвечая на расспросы умер. *Палас* удалось, несмотря на его бухарскую древность, вывезти разрезанным на придверные коврики и заново сшить, и теперь я сидел на нем у телевизора по-турецки, почти что всякую ночь — на коленке замешанный в гречку блокнотик (статуя Свободы с рогом изобилия вместо факела, из рога сыплются товары народного потребления; и подпись: “5 ЛЕТ ДЛЯ ВАС В АМЕРИКЕ! Трималхиониди Лтд”). Но перескоки изображения не дешифровывались ни в одном из известных мне алфавитов. Даже количества телевизионных каналов не удавалось установить — некоторые прогорали прямо на глазах, другие появлялись, возбужденно мигая, потом исчезали опять. Бывают ли алфавиты с пере-

менным количеством букв? Нет, не было мне никаких сообщений, лишь клочки старых концертов и фильмов, от которых сжимается сердце. Мэрилин было жалко всегда. Грету Гарбо, сутулую, как дьявол, что ее поезд сбивает. Пузастого Джона Уэйна, что как он ни стреляет с бедра по команчам, а все равно ведь помрет, и еще Армстронга — но, конечно, не того, что на Луне не был, а Луи Армстронга, черного слона с золотым хоботом.

— Нет, сиди-ка ты лучше в Европе, — сказала мама. — Здесь нужно быть жохом, как наш Капельмейстер. Знаешь, какое он заявление написал в дирекцию оперы? “Настоящим прошу удвоить мне зарплату в три раза”. Ты на такое все равно не способен. Сиди где сидишь.

Президент бани, троюродный Джек Капельмейстер распределился в 1975 г. из Института культуры (он был на народно-хоровом, я на массово-зрелищном) в г. Ханты-Мансийск, где поженился на Свете Голубчик, дочке автономно-окружного секретаря по идеологии, принял ее девичью фамилию и национальность “белоруска” (страшная месть демонически поматрошенной и брошенной паспортистки Тамары Семибашенных) и определен был в капельмейстеры сводного ханты-мансийского оркестра народных инструментов. К середине восьмидесятых годов он сделался заслуженным деятелем искусств всех без изъятия нацавтономий Заполярья, Урала и Поволжья, кое-где почти уже даже народным, и добрался — в своем *дранге нах Вестен* — до самого до города до Казани, где в театре оперы и балета им. Мусы Джалиля дирижировал оперой “Галиябану” композитора Музафарова и уже подумывал, не сделаться ли ему Юлдашевым и татаркой по новой жене Галие, но не рисковал рисковать, так как со дня на день, и именно на звонкое имя Голубчик, ожидал вызова в Ленинград, где дышал на ладан *Мравинский*. В

восемьдесят восьмом году Мравинский наконец отдышал и Каплю обидели, не позвали в *заслуженный коллектив* — несомненный *антисемитизм по отношению к белорусам*. Тогда он решил эмигрировать, но в отличие от узбекских девственных плев пятая графа не восстанавливалась, как он ни бился, — видимо, чары его потеряли свое действие на паспортисток, а взятки он презирал как унижение мужского достоинства. Пришлось выйти из партии, развестись со следующей за Галией, с иголки новенькой, самой любимой, под переезд в Ленинград завезенной, ничьей-не-дочкой женой, объявить себя преследуемым Уголовным кодексом мужеложцем и испросить в этой связи политического убежища в Метрополитен-опера. Разведенная жена не-Галия через годик-другой тоже перелетела в Америку (на фиктивном еврее), но встречаться удавалось почти никогда и с соблюдением конспирации — филера из иммиграционного ведомства пасли круглосуточно. “Еще четыре месяца, старичок! — вздыхал Капельмейстер-Голубчик. — Если не поймают на бабобстве, дадут через четыре месяца гражданство, а там я их, может, на херу вертану”. В остальном он был жизнью доволен (“Здесь исполнилось все, о чем мы в детстве мечтали: можно кушать котлеты руками!”), хотя небольшой культурный шок все же пережил: “Понимаешь, мы у нас в Рашке как думали? — что все голубые культурная публика, точно? Профессора, адвокаты, артисты, в крайнем случае архитекторы и дикторы телевидения. А тут, елки, смотрю, такие есть — прям как пэтэушники наши, наколотая шпань полосатая. В кожаных штанах и фуражках во такие амбалы с цепями, на мотоциклах гоняют, чуть что, сразу махаться. Ты ему про Чайковского, а он тебе по хлебалу. Кошмар! Стыдно просто становится за всех голубых, за всю нашу комьюнити. В Гринвич-Виллидже-то у нас народ, само собой ясно, поприличнее будет. Ну, придешь в баню, увидишь”.

— Ты о нас не беспокойся, — сказала мама. — В Америке старики не умирают. В Америке умирают только молодые — в перестрелку какую-нибудь ввяжутся, на улице или в школе, во что-нибудь твердое врежутся на машине или случайно вмажутся воздухом... А у нас с отцом, слава богу, машин никаких нет, кроме бор-. А перестрелок у нас в районе почти никогда не бывает, спасибо добровольной народной дружине.

...Через годы, через расстоянья,
 На любой дороге, в стороне любой,
 Песе ты не скажешь до свиданья,
 Песя не прощается с тобой!..

Во главе стола, в серёдке перекладки покоя, воздвигся Михаил Трималхиониди, брайтонский Великий Пиндос, и перстнем постукал по хрустальному графину с перцовой горилкой. Рассыпался звон с алмазными искрами. Банкетный зал “Арагви-Садко-Метрополь”, кухней и интерьером (потные лжедеревянные панели) всего больше похожий на ресторан харьковского горвокзала середины шестидесятых годов, весь от внимания замер, свечи только слегка колыхались в керамических канделябрах. “Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой написал: “Каждая счастливая семья несчастна по своему”. Так выпьем же, уважаемые гости, родные соседи и дорогие клиенты, за именинницу, почти сорок лет дарящую мне семейного счастья!” — волшебное грузино-хохлацкое произношение сухумского грека. Оркестр грянул, мы с бокалами встали и грянули хором (кроме Капельмейстера, который и “Взвейтесь кострами, синие ночи” на школьной линейке никогда не вытягивал): “С днем рожденья на вас, с днем рожденья на вас, с днем рожденья, Песя Львовна, с днем рожденья на вас!” Песя Львовна, синеволосая старушка во всем черном, застен-

чиво махала избитыми кассой руками. Въехал на колесиках торт, изображающий Капитолий. Мы с Капельмейстером начали непроизвольно сползать под стол — не от смеха. Купол Капитолия откинулся, Майкл Джексон в расшитом золотом гусарском костюме встал с корточек и резким движением вывернул из-под мышки мандолину. Свет в зале зажегся, Майкл Джексон нацелил гриф мандолины в Трималхиониди и контртенором пропел паровозную песню. Народ веселился и ликовал, люди плакали. Песнь кончилась, торт с Майклом Джексонем уехал. Мы выпили горилки, сели и вонзились в пылающий борщ — в груди каждого русского живет желудок украинца.

— Хрен с тобой, — сказал Капельмейстер, по новой пристраиваясь к мелковатому для него стулу. — Завтра отвезу тебя на Манхэттен. В девять ноль-ноль выходи прямо на улицу, к дедану, знаешь, который торгует медалью за взятие Праги. А я подскочу. Скажи только тете Наташе, что тебе в бундесовское консульство надо, не то не отпустит.

“Великий грузинский поэт Шота Руставели написал: “Дети Льва равны друг другу, будь то Львович или Львовна!” Так выпьем же за моего любимого шурина, прежде главного инженера озеленительного треста города-красавца Сухуми, а ныне председателя брайтонской народной дружины и добровольного общества содействия полиции и пожарной охране!”

Капельмейстер обмакнул корочку в хрен.

ГЛАВА 24

АМЕРИКУ ОТКРЫЛА КОЛОМБИНА [III]

Когда в 1993 году я въезжал на Манхэттен, засыпая и просыпаясь под теноровое жужжание Капельмейстера, задыхаясь и жмурясь в волосатой пыли, что летела со скрипом и скрежетом на лобовые стекла “лендровера”, мне постепенно (с каждым новым ущельем, обстающим очередной перекресток, — ущельем, к середине наклонным, желто-черно-сверкающим, взрезанно-полосатым) становилось понятней, почему Льюису Кэрроллу, фотографу маленьких голых Алис, Санкт-Петербург в 1867 году показался таким странным, таким ни на что не похожим (а он только что — из Лондона через Францию и Германию — прокатил всю Европу): ... *времени после еды у нас оставалось лишь на весьма краткую прогулку по городу, но вся она была полна поразительного и нового. Невероятная ширина улиц (самые второразрядные из них казались шире любой улицы Лондона)... невероятный размер ярко освещенных вывесок на магазинах... невероятные церкви с их покрашенными в синюю краску и усеянными звездами куполами... — в первой нашей петербургской прогулке все удив-*

ляло. ... *Расстояния здешние невероятны: будто ходишь по городу, выстроенному для великанов.* Петербург был попыткой построить Америку в восемнадцатом веке и совершенно ошибочно считается как иностранцами, так и русскими “самым европейским городом России”. Самый европейский город России — Комсомольск-на-Амуре, если верить старику Голоцвану. Манхэттен строился в двадцатом веке и тоже “на вырост” — детьми для взрослых, для исполинов, какими они станут, когда вырастут. Но не выросли, не захотели.

— Будешь ехать в сабвее, — учил троюродный Капельмейстер, — черным в глаза не смотри, это их провоцирует. Но и в сторону не смотри, это их тоже провоцирует.

— Ты ж мне это уже объяснял, и в этих же выражениях — помнишь, на картошке после первого курса, когда мы с тобой за бормотухой ходили — в центральную усадьбу совхоза “Шушары”? Только применительно к совхозной шпане.

— А есть дифферент? Шпана, она и в Африке шпана, не говоря уже об Америке, — те же яйца, только в профиль. Я тут, как это прорюхал, ото всех расовых предрасудков раз и навсегда отучился. Вот тетя Наташа, государыня матушка твоя, она так чувствует, что от негров пахнет машинным маслом. От Вовки Кулебацкого, помнишь, белесый, который всех наших массовичек-затейниц за коровником перетянул, тоже ведь пахло не горной лавандой. Не говоря уже о коровнике. ...Но тетя Наташа, кстати, наверняка не тех негров нюхала. Или я не знаю вообще, где их она на понюхать брала, — у них там негров нет: на границе с Кони-Айлендом они просто берут и кончаются. Так-то, голубчик, — и Капельмейстер скосил на меня из-под панамки влажный, голый, морщинистый глаз, знакомый со школьной скамьи наизусть. — ...Вот, въезжаем в Манхэттен. Тебе чего-нибудь

по дороге показывать, достопримечательности какие ни есть, или сам будешь зырить?

Мы въезжали на Манхэттен — на семижды семь сверкающих, в стекле, золотом и черном, раздробленных, еще не сросшихся внутри себя и между собою холмов. На который из них ни карабкайся, он становится все громднее, все дырявей и выше, и все равно ты не поднимаешься на него, наоборот — кажется даже: спускаешься.

Задыхаясь и капая, мы стояли на всех перекрестках. На одном ожидали, пока не иначе как першероны с покачивающимися на них спящими буддами в многоугольных фуражках, вздутобокие после гудзонского водопоя и по лохматые колени в ослепительной волнистой пыли, переплывут авеню имени каких-то плюральных Америк (сколько их, собственно? две — Латинская и Нелатинская? три — Южная, Центральная и Северная? — а может, и больше, если причесть сюда новые, полупостроенные — в Австралии и Новой Зеландии, и строящиеся — в Западной Европе, в Южной Африке, в Юго-Восточной Азии, на Луне... нет, с Луны их тогда так шуганули, что больше не сунутся, а лучше двинут на Марс, приятно напоминающий пустыни Невады — и кино будет легче снимать, о героической высадке). *Блок* спустя перепускали больших тихих крыс на быстро струящихся лапочках, которые через каждые десять шажков останавливались все как одна, поднимали редкоусые носорты и колебали над собою стекленеющий воздух. Еще через один пережидали двусторонний поток тараканов, невиданно исполинских, с доброго крысенка размером, — те шли на красный, вероятно, дальтоники. По тротуарам, между вспоротых крысами блескучих мешков, стояли толстые и бывшие толстые женщины с выпяченным из разреза чернеющим, желтеющим или белеющим пористо и влажно бедром и держали отестовленную сосиску в

отведенной руке. Под сосиской потные пуховые собачки танцевали на задних — *some dogs like it hot*. Спиной к улице, свесивши пятнистые кисти с коленок, на корточках сидели пакистанцы или типа того в белых хитонах — у столиков с пластмассовыми часами, золотыми зажигалками “смит и vesson” и какими-то многокоситчатыми сушеными скальпами. Прохожие, редкие по дополуденной субботней жаре, поголовно были в бейсбольных кепочках козырьками как вперед, так и назад, с изображением композитной нью-йоркской руны (руна “Ger”, похожая на большое латинское N, символ духа единения, с наложенной на нее игрекоподобной руной жизни “Leben”, служившей также эмблемой дивизии СС “Lebensborn” — “Источник жизни”): шли, полизывая и покусывая себе в ладонях, подпрыгивая, оглядываясь, подталкивая друг друга локтями и поплеывая из разноцветных трубочек. У входа в метро на углу с Пятьдесят Седьмой улицей лежал на боку скрючившись и одновременно ходил под себя старый негр в вельветовом ватнике не по сезону. Из-под ватника исходил пенный ручей и, двигая пустыми жестянками, длинно-извилисто тек на проезжую часть — к сточной решетке. Рядом, на левой ноге, стоял еще один негр в еще одном вельветовом ватнике, бело- и гладкобородый — рьяный, вероятно, поборник общественного порядка и гигиены: он, как деревянный медведь с Кузнечного рынка, методически раскачивал на весу правой ногой, каждый качок завершая негодующим вскриком и смачной поливой под лежащие ребра. Первый, получив раза, не шевелился, а только добродушно-недовольно мычал из глубины сна. Что было с ними дальше, не знаю — мы еще чуть-чуть постояли, гукнули Капельмейстера пухлой,верху изогнутой дланью по средостенью руля и перепрыгнули к новому перекрестку, где поперек шли цистерны с небудейовицким пивом “Будвайзер”. Вероятно, до сих пор

еще там — один лежит, другой над ним полутораного кажется.

Не разобрать было, какой ордер предпочитают патриции и откупщики этого города, дорический, ионический или коринфский — дворцы их с золотыми, а может, и с пряничными колоннадами и с алмазными, а может, и с леденцовыми куполами, дворцы, откуда не глядя правится миром, возведены были на такие высокие цоколи, что разглядеть их как следует не удавалось, как ни высовывался я, как ни выворачивал на поворотах слабую шею. Тем более не разобрать было, кому ставят памятники на такой высоте — только сверкающий кончик меча виден, или коленка, обернута мраморной тогой, или вздутый хвост зеленомедного першерона. Цоколи их домов, пьедесталы их памятников — бесконечно поставленные одна на одну железные клетки, заполненные разъеденным океанскою солью омертвелым песчаником, или зализанным языками покоренных языцей графитом, или драгоценным бетоном, замешанным на крови феникса, или сосушим солнце черным стеклом — наклонялись и поворачивались, затеняя друг друга, как будто покачивались, провожая машину. Когда-то все здешние зданья, и монументы, и парки (“Юлька, смотри, Сентрал-парк. Но ты туда не ходи — козленочком станешь!”) скребли небо и соответственно все были усыпаны небесной отскребанной перхотью, но почва тут, видимо, зыбкая и с блуждающими пустотами, вот некоторые и попроваливались, ушли на часть роста в землю: на треть, на половину, а то и совсем — и на затененном исполинами дне видны теперь только надстройки — какие-то капитолии, палаццо и бесконечными рядами кирпичные избы с крылечком. Обломки деревьев, сошедших во время падения с ума, поэтому в смиренных рубахах цвета хаки. Брошенные посреди площадей маленькие, покрашен-

ные в веселенькие светло-блестящие краски фигуры цезарей и богов, что-то жующих. Подземный обратный Манхэттен отражает надземный, как минусовые столбики диаграммы “рост — убыль” отражают плюсовые; в перевернутых его ущельях извиваются вокруг уходящих к земному ядру этажей ртутные поезда, разрисованные известными и неизвестными рунами. Не в луна-парках следует искать американские горы.

— Вот моя опера, здесь я тебя выкину, — сказал Капельмейстер, рыжемохнатыми руками сворачивая рулю голову. — Гуляй дальше сам, только тете Наташе не рассказывай, что я тебя отпустил одного. Репетиция кончается в полседьмого, стой вот у этой коробки с бомжом. Тут просто, все улицы по номерам. Найдешься?

ГЛАВА 25

МАНХЭТТЕНСКИЙ АНАБАЗИС

Первым делом я потерялся. Остановился на углу Восьмой авеню и Сороковой улицы поговорить с продавцом жареных скорпионов, три года назад защитившим в Харбинском государственном университете кандидатскую по моим пьесам в свете влияния на них “Иллюзии” Корнеля и “Артаксерксова действия” — о погоде (“И не говорите, Юлий Яковлевич, жара адская. Мы же с вами люди, в сущности, северные, нам бы на снежок, да на лыжки, да по сопочкам погонять, а потом хряпнуть как следует водочки, настоящей на рогах марала!”) — и вдруг увидел Джулиена Голдстина в белом фраке при звездчато-полосчатом галстуке: он, оглядываясь и махая рукой (по глазу полоснула лазерная запонка), стоял у автобусного вокзала, густо исписанного (на высоте метр с кепкой) различными рунами, как общеизвестными, вроде символа древнегерманского бога-громовика Тора, сына Одина, в виде свастики, или руны победы “Sig” в виде вертикальной молнии, служившей (в удвоенном виде) эмблемой СС, или же руны мертвых в виде куриной лапки с тремя паль-

цами книзу, каковая, будучи вписана в круг, принята в качестве международного символа пацифизма, так и новы-ми для меня, из местных, видимо, рунических алфавитов. Опасаясь быть узнанной, я бросился в бегство. Дареного скорпиона пришлось все-таки взять, из страха рассориться с международным славизмом; но с жареным скорпионом на палочке, скорпионом, который ослепительно пламенел, обжигаяще перегревал над кулаком воздух, брызгался жиром и соевым соусом и вообще вел себя как живой, убежать было как-то стеснительно, и я передарил его первому же встречному китайцу, оказавшемуся солистом нанайского национального ансамбля песни и пляски имени Кола Бельды (проездом на гастроли в Сеул). Бежал, бежал, минут двадцать бежал, и у настоящего здания “Нью-Йорк таймс” (пересечение Бродвея с Седьмой авеню) наткнулся на Голдстина — он что-то заталкивал в подметную прорезь, окованную нечищенной медью. Я развернулся и снова пошел не оглядываясь. Номера улиц становились трехзначнее, здания копченей и ниже, люди пестрее и толще. Через час этой ходьбы сердце, скрипя, поднялось к горлу и перегородило дыхание. Сел на крылечко обгорелого и крест-накрест заколоченного подъезда, закурил украденную у мамы беломорину, показавшуюся прохладной, и увидел, как Джулиен Голдстин, уже переодевшийся в просторную одежду матрацных цветов, в бейсбольной кепке козырьком на затылок, в ушастых кроссовках с искусно развязанными шнурками, входит, уверенно утапливая по очереди то правое, то левое бедрышко и соответственно выставляя вперед то левое, то правое плечико, на баскетбольный пустырь, огороженный провололочной сеткой (при этом на обеих его слегка согнутых и сильно отставленных от туловища руках из указательного и мизинца сооружена т. н. *коза*); как он, развеваясь штанинами и шнурками, взвивается в воздух, перехватывает летящий в кольцо мяч и, приземляясь, начинает что-то втолковывать собравшимся вокруг афро-

американским пацанчикам в майках. Вероятно, изложенную в его недавно вышедшей и подаренной мне с надписью *To my pretty sister :-)* книге “The Age of the Great Change” теорию, согласно которой всякий индивидуум Нового Западного Человечества не только имеет право, но и прямо обязан, в интересах цивилизации, прогресса и гуманизма, соединить в себе все основные расовые, религиозные и половые принадлежности. (*Человек новой эпохи будет красным зеленым голубым черным евреем-христианином-мусульманином или его не будет совсем!*) Афроамериканские пацанчики отобрали у Голдстина мячик и побили его легонько ногами (Голдстина, естественно, а не мячик: какому нормальному человеку придет в голову кощунственная мысль трогать баскетбольный мяч руками?), целясь преимущественно по яйцам — т.е. ничего они из его объяснений так и не поняли, как, впрочем, и рецензенты — за исключением Сьюзен Зонтаг, написавшей в “Нью-Йорк таймс”, что книгу мистера Голдстина следует перевести на югославский язык и сбросить с “Б-52” на позиции всех враждующих на Балканах сторон. И даже если пара книжек в Монголии упадет, то тоже не страшно. Бедный Джулиен, легонько побиваемый по несуществующим яйцам, так жалостно верещал, так неуверенно отступал задним ходом к калитке, так неловко по-мальчишечьи выставлял то одно, то другое бедро, вполоборота защищая пах, и скрещенными руками так вяло по-девичьи прикрывал грудь, по которой никто и не бил, что даже я, старый хазарский солдат, запасной ефрейтор войсковой самодеятельности, не выдержал и отвернулся. Когда я поднял глаза на площадку, там снова играли, а Голдстина нигде не было видно.

С полчасика я еще последил за игрой (покойного Шуры Белова на них не было, великого центрового с глазами, полными смертной печали, и павианьими бакенбардами по моде семидесятых годов, заложившего штатникам

победную штуку в финале Олимпиады семьдесят второго года) и пошел сам не зная куда, а только надеялся, что уменьшение уличных имен-номеров приведет меня к слепому божу в коробке из-под нелегальных кубинских сигар. И действительно, дырявые холмы, лоснясь и сверкая пополуденным солнцем, принялись нарастать и одновременно распарываться, запах горелого кирпича и прогорклого животного жира стал вытесняться запахом печеных лошажьих яблок. “How can I reach Metropolitan Opera?” — спросил я трех конных полицейских, перегородивших номер какую-то улицу в очереди за ручными котлетами к тротуарному пакистанцу или вроде того в белом трауре. Лошади взмахнули хвостами, Алеша Попович присвистнул, Добрыня Никитич сплюнул, а Илья Муромец погладил себя сверкающим третьим подбородком по голубому предплечью и ткнул гуттаперчевым жезлом куда-то на север. Но на север было нельзя, очередь за котлетами оказалась заодно оцеплением — то ли папа ехал на встречу с цезарем, то ли Майкл Джексон на прием к дерматологу. Точнее я так и не понял, подробностей буддийский эдил не обронил со своего першерона. И я пошел по квадратам кругами. Помню, пытался еще уточнить местонахождение Метрополитен-опера в ресторане “Тарас Шевченко” (официант в расшитой рубахе, услышав вопрос, отшатнулся и прошептал: “Пане добродию, по-москальски не розумию”, а в сумеречной глубине зала у нескольких стариков в полевой эсэсовской форме под портретом Бандеры в парадной эсэсовской форме аж еда стала кусками отваливаться ото рта). В каком-то обнесенном крепостными стенами саду стайка пуэрториканских лилипутов на роликах, услышав вопрос, моментально построилась пирамидой, верхний член которой, коричневый старичок в алюминиевом плащике, с криком “алле” разоблачил себя в качестве эксгибициониста. Опасаясь, что с меня потребуют гонорара за номер, я ударился в бегство, сопровождаемый

возмущенными криками рассыпающейся пирамиды. Спросил еще двух веселых пожилых господ с редкими стоймя стоящими чубчиками (те рассказали, что сами не местные, а прилетели из Сан-Франциско, поскольку в квартире у них завелся сверчок по имени Сапфо, а единственный магазин, продающий корм для сверчков, находится где-то здесь в Гринвич-Виллидже, и они его уже третьи сутки не могут найти). Хасид в суконном халате и меховом малахае поинтересовался *а ид* ли я, и, узнав, что *а ид*, вздохнул всем своим бледным, пухлым, холодным лицом и, подпрыгивая, ушел. Женщин я о дороге не спрашивал, помня предупреждение Капельмейстера: “С бабами не заговаривай, старичок, ни в коем случае. Напрыскают баллончиком газовым в очи, а потом еще в суд подадут. И будешь до морковкина заговенья выплачивать за моральный ущерб, причиненный твоим половым домогательством. Разве что с блядами в районе Сорок Второй улицы можно кое-как поговорить по душам, только они уже с утра пораньше в полном улете, и все равно за них их коты разговаривают, серьезные такие мужчины ямайские”. Ох, может, и прав Джулиен Голдстин: если все тетеньки переделаются в дяденек, а все дяденьки в тетенек, все желтые в белых, а все белые в черных, все евреи в христиан, а все христиане в мусульман, может, и станет тогда жизнь значительно проще?

На берег поросшей мочалом и пропахшей мочевиной реки (так и не понял, Гудзон это был или, скажем, Ист-Ривер) меня привела одна негритянка, вся состоявшая из трех гулких пуз, небрежно обернутых цветными шелками. Я ее в отчаянии спросил: “Матушка, не знаете ли вы, куда я иду?” (“Where am I coming?”), а она привела, и рукою в десяти громадных перстнях указала на какую-то баржу с надписью LIBERTY LIVE и изображением не то сердца, не то жопы, вид сзади, по борту (бывает ли у жопы вид спереди?), и со словами *My pleasure* ушла, бо-

сыми ногами пришлепывая и пришаркивая по бетону в радужных пятнах. Пока я топтался на сходнях, поглядывая на непроницаемую нанайского вида вышибалу в бескозырке “Дважды Краснознаменный Балтийский флот” и серебристо-чешуйчатом лифчике, которая угрожающе медленно выползала из трюма (я гетеросексуален, но денег на гетер у меня при себе не было), из мочала на четвереньках вышел старик в матрацной (красно-бело-синей) пижаме и оплавленных пластмассовых шлепанцах, встал во весь свой оказавшийся двухметровым рост и ухватил меня под руку. Его голое, круглоскулое, не по стати маленькое лицо мучительно-вдохновенно кривилось, глазики глубоко голубели, паутина над ушами клубилась и наполнялась закатным огнем. Я стал как умел объяснять, что, дескать, и сам потерялся и где его дом престарелых или там больница не знаю, и вообще я приезжий и не американец даже. Но старик лишь по-голубиному горлово клекотал и чмокал всосанными до исчезновения губами. В качестве последнего аргумента я почему-то сказал, что я-де русский писатель. Это подействовало. Он отшатнулся и взбух слоеными веками. Затем (из пижамного кармана) появилась вихрастая колода разноцветных каталожных карточек и не без шулерского изящества — раскрывающимся и закрывающимся павлиньим хвостом — принялась перекатываться с руки на руку. Наконец, он пощелкал языком о гортань и, зажав между двух широких, плоских ногтей, вытянул одну карточку — темно-розовую, разлинованную и с круглой дырочкой посередине сверху. А на ней полустертой машинописью (с наклонившимися против хода письма, почти до знака приблизительности, “S” и с проставленным карандашом ударением) было написано: *Puskin Szergejevics Sandor*. “Вы венгр? — спросил я в растерянности. — Мадьяр?” Затряс головою, как лошадь Карла V (паутина летела, распрямляясь и сворачиваясь), вытянул шею и зашипел, как гусь Карла V, налил глаза разветвленной кро-

вью, как черт Карла V, и сдал, наконец, голубую: *G. Meyrink. Gesammelte Werke in 4 Bdd.* “Sind Sie ein Deutscher, mein Freund?” Карточки снова заскакали по быстрому негнушимся пальцам, складывая и раскладывая мгновенные домики: *Widow Goddes Jewish nursing home, app. 13, 424 West 44th St. NYC, Manhattan, NY, USA.* Я снова было завел, на всех известных и неизвестных мне диалектах, что, дескать, ничем не могу, сам прие... но колода исчезла в пижаме, а предплечье мое опять пронзено было тесными пальцами — нечеловеческая сила толкала меня от лупанарной баржи.

...Маленький, трехэтажный и желтый, с колоннами и кариатидами — как исполком в южнорусском райцентре. По низу (до высоты метр с кепкой) исписанный красными, синими, черными и серебристыми рунами, как известными, так и не известными мне. По обе стороны сварной палисадной решетки обросший лопухом и пустырником. В скрипучем пузыре тишины, куда втеснишься из наковального грохота Седьмой авеню — шелкнет и уши заложит, как в колоколе водолазном. Но сколько ни толкали меня железные пальцы, как ни пихал каменный бок, как ни прыскало на щеку обжигающим и ледяным, как ни мычало и ни шипело мне в ухо, я присел за гигантский черный мешок, где тонула в мусоре крыса (и он, куда ж ему деться, шелкнул коленями следом за мной), — надо было переждать, пока под надписью *WIDOW GODDES' FOUNDATION* полуготическими капителями по фронтону Джулиен Голдстин наконец распрощается с кем-то внутри (два раза мазнет, переворачивая, полупригнутыми пальцами по чьей-то узкой, изогнутой, черно-розовой, высунутой из дверного проема ладони) и, уже во фраке при галстукe, но все еще утапливая поочередно то правое, то левое бедрышко и соответственно выставляя то левое, то правое плечико, двинет по Сорок Четвертой на запад, в сторону Восьмой авеню.

ГЛАВА 26

ВАМПУКА

Закапанными скорпионом ногтями я постукал о притолоку (мореный искусственный дуб) и, вместо того чтобы стеснительно кашлянуть, оглушительно хрюкнул, затем крякнул, затем крикнул: “Mrs. Shvartsman... Sorry... Hi...” — У последнего справа окна, полного дымным каштановым листовьем, намертво обволокшим еще не зажженный фонарь, стояла, раздвоенной спиной ко мне, черная женщина в сарафане чернее спины, колокольном от талии до плавных подколенных пружин. С выставленных в окно плеч свисали сарафанные постромки. В волосах, на разные стороны уложенных крупными полукольцами и еще более черных, чем сарафан, шевелилось, просачиваясь наверх, облако дыма — нежно-золотое, расплывчато повторяющее прическу. — I was said, you can show me the library!..” Оставив падать на улице сигарету, она обернулась — негатив слегка постаревшей Монро: выпуклый лоб, близорукие глаза с глубокими нижними веками, все еще дерзновенные ноздри, пухлые светлые губы — и, сильными движениями бедер унося себя от еще

стоящего в окне дыма, пошла мне навстречу — по диагонали через заросшую лианами и пальмами комнату “Mrs. Goddes, chief-manager”.

— А-а, Юлик, спасибо, что старого поца привел. Опять он чудачит. У нас тут уже прямо форменное ЧП, старухи меня даже из дому вызволили, хотя при чем тут я? — я младший библиотекарь! Вдова, старая крыса, вечно в отпуску, а тут я за нее отдувайся! Какой стал лохматый... курчавый... как Анджела Дэвис... Старый...

Младшая библиотекарь Фонда вдовы Годдес миссис Свэртсмен, бывшая Аида Шекля-Афер, отличница из Аддис-Абебы, училась у нас в Институте культуры на библиотечном факультете. Мы с Капельмейстером были уже на четвертом, когда она поступила — со стипендией Хайле Селассие, последнего абиссинского негуса. В общежитии (позднесталинский или раннехрущевский парфенон между Торжковской и проспектом Смирнова) жила в одной комнате с огромной анголкой во френче на голое тело — по правому нагрудному карману был вышит Фидель Кастро, на левом — Агостиньо Нето, оба топырься лежали.

— А как Анка Голая, знаешь про нее что-нибудь?

— Она вышла замуж за геолога-почвенника Каганаскаса и уехала с ним жить в Тушино. Теперь ее называют черной богородицей патриотического лагеря.

— Почему богородицей? Она что, непорочно зачала?

— Да уж конечно уж не порочно. Порочно с вами, пожалуй, зачнешь! А больше тебя ничего не интересует? ...Ой, ты что, разве не знал, что я здесь работаю?!

Мы спускались и поднимались по лестницам, полным сверчиного скрипу и треску, с одной площадки протискивались на другую, зигзагообразными коридорами шли, шли и шли (двери были полуоткрыты: столы ломи-

лись от выцветших папок и коробок из-под китайской еды, броневые сейфы стояли в простенках распахнутые, позабытые при пятничном бегстве вентиляторы поворачивались на длинной ноге) — и в завершениях безмебельных, тускло сверкающих анфилад утыкались в дубовые тупики с портретами дебелих господ — на раме нажималась тайная кнопка, панель, визжа рельсами, отодвигались. Снаружи трехэтажное, изнутри зданье было не меньше чем в дюжину этажей, полуэтажей и каких-то уступов: нарисовала его собственноручно вдова Годдес, наемному архитектору пришлось приспособлять внутренность к внешности. Время от времени в самом неожиданном месте встречалось окно, сверлящее сумрак медленно вращающейся воронкой ослепительной пыли; можно было остановиться, вздохнуть, выглянуть: на Соррок Четвертую улицу — в подъезд католического интерната напротив заходили крошечные черные девочки в белых бантах и платьях, попарно, а выходили оттуда белые худые монахи в черных сутанах, по одному. Или во внутренний двор — там, перед бетонным флигелем богадельни, стоял двухметровый старец в пижаме, окружен толпою взволнованных голубоволосых старух. Карточки так и летали у него на руках — рассказывал, видать, свои приключения. “Что, тимуровец, на спасенного загляделся? Твой почти что земляк, между прочим”, — глазами и подбородком смеялась Аида.

В конце 1945 г., перед передачей советской военной администрации (в обмен на часть г. Юденшлюхт) определенного района с определенными рудниками (включая рудник номер три дробь четырнадцать), с одного из карьеров был снят (специально притаранным из Америки экскаватором) верхний почвенный слой, загружен в транспортные самолеты ВВС США и немедленно отправлен в город Фифроум, Коннектикут — на исследование. Из

песка, гравия, глины и пустой рудничной породы был при выгрузке высеян человек в полевой эсэсовской форме без знаков различия — в полубессознательном, но не беспмятном состоянии. Врачебный осмотр и пристрастный допрос показали, что житель юденшлюхтского гетто Игнац-Израиль Тека, только благодаря усиленным бомбардировкам американской и британской авиации спасенный от нацистского уничтожения, собирал в рудничных отвалах шампиньоны, заснул и был подхвачен ковшом экскаватора, отчего и лишился сознания. Очнувшись, от удушья и тьмы, уже над Атлантикой, с невероятным трудом проколотился головой к воздуху, но от смертного ужаса и нервного потрясения безвозвратно потерял дар речи.

— А есть тут у вас его личное дело? Дашь поглядеть?

Шекля приостановилась-приобрелась на верхней ступеньке, глянула искоса сверху и сполна доказала, что не забыла, чему ее в Институте культуры учили:

— Только что выдано. Минут пятнадцать назад. Оставьте заказ, товарищ Гольдштейн, и подскочите недельки так через две, а лучше через четыре. С шоколадкой.

— Сука ты, Шекля, — сказал я. Она засмеялась в луче, преломленно росшем из ее дегтярных волос как дымное дерево, и пошла по лестнице вверх, в темноту. Прямее ее полуголой спины я не знал никакой. Но и овальнее и пронзительней ее ягодиц, полных медленного черного меда, не было на земле. Сколько раз я приглашал их на медленный танец, да и не я один — каждую субботу мы ходили с Капельмейстером в общежитие переписывать конспекты по научному коммунизму, но она только виновато смеялась и никому не давала (за что Капельмейстер обзывал ее, для нее непонятно, Вампукой) — позже (уже было поздно) выяснилось, что перед вылетом из Аддис-Абебы Шеклин отец, главный эфиопский рав-

вин, взял с нее клятву на списке Моисеева Пятикнижия, подаренном царем Соломоном царице Савской, что она выйдет замуж только за еврея и только из рода Давида. Он так думал, что ей предназначено Мессию родить. А она так думала, что мы с Капельмейстером не евреи, потому что мы белые. Мы сдали госы и получили дипломы, Капельмейстер — капельмейстерский, а я — режиссера массовых зрелищ, и на годы разъехались: я в армию, ефрейтором самодеятельности, потом, утаив высшее гуманитарное, в Москву, в литинститут, а плоскостопый Капельмейстер в Ханты-Мансийск. Шекле же оставалось три еще курса — за три этих года негуса свергли, а Шеклю (говорила одна библиотекарьша в г. Энгельсе Саратовской области, где я выступал по путевке Бюро пропаганды советской литературы со стихотворением “Тебе чего, спросила кобра и на меня взглянула добро”) личным указом полковника Менгисту Хайле Мариама услали в аспирантуру то ли в Уфу, то ли в Казань — и след ее затерялся в степях.

— А мистер Свэртсмен это, кстати, кто? Штатник какой? Ты его что, здесь подцепила?

— Шварцмана? Марк-Израильча? Призрак коммунизма?

Я так и сел на ступеньку: “Ну, ты даешь, мать! Наш Шварцман, Марк Израильч, по научному коммунизму? “Все, что приснилось Марксу, было окончательно запутано Энгельсом”? Ему же сто лет в обед! Ты с ним что, так и живешь?”

В обед Марку Израилевичу оказалось всего только семьдесят, и жил он от Шекли отдельно, на Алеутских островах, где его сын Левка Шварцман, бывший трубач из ресторана “Москва” на углу Невского и Владимирского, пытался (без особых успехов) разводить (на мясо и мех) хонориков, контрабандно вывезенных с острова Итуруп Курильской гряды.

— Ну вот, это наше хранилище, — сказала Аида и щурясь потыкала мизинцем в щиток, похожий на щиток домофона. — Толкай, тут мужская сила нужна.

Панель, скрипя, въехала в стену, железная дверь прожгла мне плечо костным холодом, лязгнула и медленно сдвинулась внутрь. Щелкнул выключатель, тысячи огней загорелись — где-то вверху, и где-то внизу, и бесконечной спиралью, огибающей стены. И посреди — одна под одной, ярусами, цепочки тусклых фонариков в котловане без дна. Смахивало на бассейн, устроенный в кирхе на Невском (мы с Шеклей стояли на хорах, почти под невидимым куполом), только вместо зеленой воды — несчетные уровни стеллажей на уходящих к ядру земли металлических сваях.

— Теперь в каталог, это минус тринадцатый. Лифт слева в стене. А чего тебе, собственно, надо, какую книжечку почитать?

По Юденшлюхту в компьютере каталожном нашлось только несколько тематических томов “Рудногорской старины” за 1881, 1897 и 1914 гг., первопечатная (1627, г. Ульм) хроника Иоганна Богемца “Das Leben und Thaten des teutschen Ceysers Rudolph. II” (“Выдать, сам понимаешь, не могу, а фотокопий, если хочешь, понаделаем сколько хочешь”), книга Голдстина “Джейкоб Кагански — еврей, убивавший евреев” (“Ну, этого добра у нас завались, могу тебе насовсем дать один экземплярчик, потом в утруску спишу”) и 2197 рефератов и научных статей на семнадцати языках, включая албанский, суахили и кечуа — с упоминаниями (в основном о полезных ископаемых, рождественских пирамидах, архитектурных достоинствах Юденшлюхтского замка). И еще — в отделе рукописей, в вакуумном шкафу — найденный при Игнаце-Израиле Теке в левом нагрудном кармане обрывок пергамента (оленья кожа) величиною

с ладонь, а на нем мельчайшие странные знаки, под лупой похожие на схематические изображения повернутых в разные стороны телефончиков. “А это не по-вашему, не по-эфиопски?” — “Кретин, — нежно сказала Аида и полуприсела на ксерокс, немедленно затрясшийся и поехавший лазером.— Это, конечно, глаголица, но язык неизвестен. У нас тут исследователь один, бывший стипендиат, разослал всем специалистам на свете, и никто ничего не придумал. Сегодня как раз плакался. Тебе тоже копию?”

...Игнаца-Израиля Теку хорошенечко тогда осмотрели, допросили с пристрастием и — куда ж его деть — оставили сторожем при грузе, частью которого был он сам. Двадцать лет он ночами ходил с фонарем по карьере (вокруг, на радиусе в полтора километра, шли колючие крупные вольты, у ворот с автоматом ходил и жевал часовой), а днем запирался в старой “аэрокобре”, подаренной администрацией базы, и чего-то все дробил, тер, разжижал, жег и морозил. В начале 60-х проект “New American Golem” свернули за безрезультатностью: только что посаженный на престол (гильдией чикагских мусорщиков) мальчик-цезарь с лицом как веснушчатый сапожок и новый председатель сенатской комиссии по разработке големических вооружений Джошуа Хорс верили больше в напалм. Игнац-Израиль получил гражданство и пенсию, с выходного пособия купил пустырек на окраине близлежащего города, участок обнес спиленной с базы колючей и электрической проволокой и пересыпал туда все, что удалось выкопать и выскрести из карьера, с помощью нанятого за бутылку бурбона индейца-экскаваторщика с соседней автопомойки. И оказался обладателем семидесяти патентов на бетонные и цементные присадки, состоящие из различных сочетаний песка, глины и пустой рудничной породы. Фирма

его, “Tecka Concrete”, получила подряды на строительство взлетных полос, противоядерных бункеров, маяков и колизеев и к середине 70-х гг. застроила почти весь Южный Манхэттен. Игнац-Израиль сделался миллионером и пожертвовал несколько лишних миллионов фонду вдовы Годдес, но с одним условием. К середине 80-х юденшлюхтская смесь щепоть за щепотью кончилась, без нее взлетные полосы трескались, противоядерные бункеры начинали протекать, а небоскребы крениться. Игнац-Израиль сделался нищим и поступил в богадельню вдовы Годдес — бессрочно и бесплатно, это и было условие.

— Я тебя провожу, а то еще опять потеряешься, тѣха. Тебе к Метрополитен?

Мы шли, уже в сумраке, среди бегающих по стенам разноцветных огней. Пошел дождь, почти сухой, мелкий, колкий, пахнувший нефтью. Шеклины крупные гладкие пальцы держали меня за предплечье, ровно там, где саднили еще и горели оттиски железной руки Игнаца-Израиля Теки.

— Вот, через дорогу и направо, и ты там.

— Ну, так когда же мы трахнемся? — спросил я, как спрашивал ее всегда на прощанье, и приготовился выслушать виноватый смешок и поцеловать тугую мокрую щеку.

— Завтра я не могу, завтра мне с мужем в Коннектикут надо, стрелка у нас... Послезавтра тебя устраивает? — у меня будет за сегодня отгул.

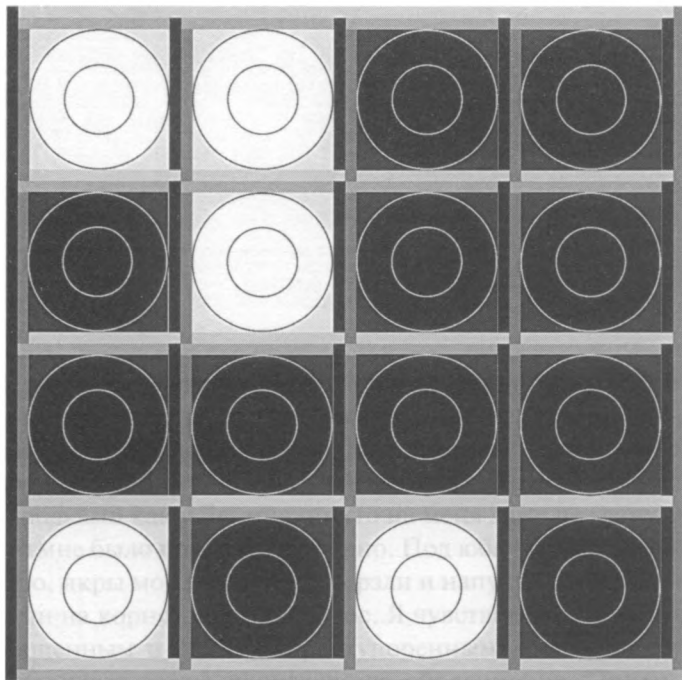
— С Марк-Израильчем? — спросил я растерянно-глупо.

— ...Да нет же, при чем тут? — Израильч на Алеутах. С первым, казанским. ...Так, на тебе адрес, это в Бронксе, возьми лучше такси. Сначала только намажься как следует из этой вот баночки — руки и лицо. Если у нас кто уви-

дит на улице, что ко мне белый приехал, той же ночью заявятся эти, из Исламского ордена имени Роже Гароди, в черных балахонах и с горящими полумесяцами.

Она откинула голову, засмеялась, похлопала меня по загривку, где под шаром позабывших резинку волос влажно жил холодок, на шаг отступила и сделалась радужно мерцающей тенью в дожде. Я не оглядываясь побежал через улицу. Сердце мое было полно счастья и ужаса.

Третье вступление:



Декабрь
девяносто
второго

ГЛАВА 27

ПОПУТНАЯ ПЕСНЯ

В вагонном проходе, пока я (выставив по-боксерски сведенные локти) протискивался мимо притворно спящих на тюках поляков, курящих женщин неизвестного происхождения и пожилых немецких пограничников с бородками как у Ленина, никто на меня даже не глянул, что мне было по-женски обидно. Под юбку сильно задувало, икры моментально замерзли и напухли пупырышками на корнях сбритых волос. Я чувствовал себя незащищенным и голым — раскупоренным — исподнизу. Сатиновые трусы производства объединения “Трико-тажница” до середины бедра (в просвеченных ветхостью полосах, последние чистые из шестидесятидевятиэтажной башни, что перед отъездом в Америку заложила в бельевой шкаф со снятыми полками мама, рядом с такою же маечной и чудовищным шаром из искусно заплетенных друг за друга носков) мало от этой незащищенности защищали. Поезд “Прага—Мюнхен” уже переехал границу: наклоненные отражения станционных табличек загорались и меркли по-немецки. В сидячих

вагонах все купе были заняты мужскими цыганами — все от мала до велика в пиджаках одинаковых бурых в косую полоску и в огромных морщинистых сапогах, ослепительно начищенных самодельною ваксой: делегация богемско-моравских таборов ехала в Базель на Пять Тысяч Семьсот Пятьдесят Третий Конгресс Цыганского Интернационала. Похлопывая по голенищам свернутыми в трубочку кепками, делегаты негромко о чем-то разговаривали и неодобрительно поглядывали на меня, протирающуюся приставным шагом мимо. *Никак, думали они вскользь, и ромала-от понаярилась в Базель, басана? Ужели и у нас, чибиряк, чибиряк, в вольных шатрах, душечка, завелася — передалася небось от ракла белоглазого — зараза такая, басаната, басана, — феминизмус следовитый!?*

В тамбуре было почти что темно и почти пусто: лишь у двери, близоруко освещенной неподвижной дырявой луной и дальноторко — мчшимися навстречу (*быстрее, шибче воли*) чистыми полями Европы, курили два щуплых пацанчика, один малорослый, курносый, с надорванной простежкой на скошенном лунном плечике красноармейского полушубка, другой наоборот — длинный-длинный, в волосатом полупальто с откинутым на спину капюшоном. Обрадованный простором, я занесся в него с двумя чемоданами — из прохода вагонного тесного, из ночного света и дыма. Поляки с баулов приподняли белесые брови мне вслед, курящие женщины выпятили кружочками губы и — не доставая до форток — выдохнули, как рыбки, в стекло. “Занято, мамаша, очки разуй! — сказал в полушубке. — Только с плацкартой”. Я непонимающе задвигал головой и плечьями, защелкал языком, заюлил юбкой, заметался *по тамбуру улицы темной*. — “Да ладно тебе, — смущенно сказал второй. — Не видишь? — ни фига не понимает тетка по-русски. Пускай стоит, жалко тебе, что ли? Плиз, плиз, гнедиге

фрау...” “Закуривайте, мамаша”, — мгновенно смиловился первый. Я выковырял лежащую беломорину из его продольно переломленной пачки, покивал благодарно в контражурную тьму, по кромке обведенную неподвижной луной, и деликатным полуоборотом сел — у противоположной двери, у безлунной — на свои чемоданы. Те пацанчики, оказалось, когда-то, чуть ли не с детских соплей, были знакомы, но сто лет не видались и встретились в этом поезде совершенно случайно. То шипя шепотом, то петушиным криком смеясь, они рассказывали (один высоким подрагивающим голосом с ленинградскими “ч”, другой — областным хриплым баском, почти не затронутым падением редуцированных) истории об общих знакомых — о каких-то тетках, бабках, сестрах, о капитанах первого, второго и прочего ранга, о каких-то непонятно откуда взятых китайцах; истории, впрочем, довольно в конечном итоге однообразные: одни умерли, а другие уехали. ...Какого-то петушка заели борзые собаки.

— ...А как же в Германию-то призвали тебя, группу войск же выводят, почти уже вывели всю?

— А лукавый их разберет, забобонскую силу. Наприсылали шесть повесток одну за другой, я из них Яшке-малому самолетики строил, потом вдруг сам военком накатил в козлике, а при нем еще два козла с автоматами — в полтретьего ночи! Говорит: псих, но годен в стройбат! Привезли на вокзал в Выборг, наволосо побрили и по вагонам. А перед присягой, здесь уже...

Дальше он зашептал, поднимаясь на цыпочки к изумленному уху, которое отступало, уклонялось, кивало, а губы тянулись за ним — так они, оборачиваясь и меняясь местами, топтались по панцирному полу, как танцевали — под железнодорожную попутную песню без слов. Меня

на чемоданах, набитых бумагами и носками, смаливало все больше и больше, папироса редко потрескивала, роняла на цыганскую юбку редкие искры (не прожгло бы — единственная!), гасла и снова гасла, зажигать ее не было сил, веки смыкались сами собой под очками, а не засыпал я только от холода, панцирного лязга и папиросного смрада... “Юденшлюхт, — сказал кто-то неожиданно громко. — А в Юденшлюхт к сеструхе когда?” — я вздрогнул и сорвался обоими локтями с коленей: туда же как раз я и еду, в Юденшлюхт этот самый, столицу культурного бункера. *Сердце застучало, считая мгновенья. Коварные думы замелькали дорогой.*

— Смотри, тетка очнулась, родимое слово услышала! Кип слипинг, кип слипинг, мэм, нот йет! Зе лонг вэй ту Юденшлюхт. ...Нет, а я сейчас прямо до Мюнхена, без пересадок. Надо помочь растаможить отару одну — срочно! Не то отчим-нудила со свету сживет, ты ж его не знаешь, какой он — он с нами на дачу не ездил, предпочитал санатории. К Лильке-то я само собой заверну, если останется время по визе, — но на обратном пути уже. Как они там?

Они там, насколько я понял, *были ништяк*, хотя второй пацанчик родственников первого наблюдал исключительно издали, как они под ручку гуляют по наклонным аллеям, поскольку, будучи на нелегальном положении, укрывался в каких-то подземельях, заброшенных штольнях, подземных ходах и проходах, густо-извилисто пронизывающих Юденшлюхтскую гору. В горе, кроме пацанчика, жили еще непонятные люди — шуршащие горбатые тени во тьме — и совершались непонятные вещи. Сперва он пугался, слышав шуршанье и стук, и снимал с предохранителя унесенный из части “калашников” без магазина, потом свыкся и захотел познакомиться. *Раз*

они местные, думал, может, покажут до Ерусалима подземный проход, а я бы сейчас же ушел.

— Зачем тебе Иерусалим, ты же русский!? Тебе лучше в Америку!

— Сам ты русский! В забобонском пашпорте русский, а по-настоящему, по завету от дедов и прадедов — жид. Ныне мы, по последним временам, не хоронимся боле: меня вон до самого до Ленинограда возили, о позапрошлом годе на Фоминой — показывать по жидовскому делу ученым, библиотекаря наша новая из клуба Балтфлота возила, Светка Николайнен такая чухоночка — в Географическое, говорила, какое-то забобонское общество!

С детьми подземелья он в конце концов кое-как познакомился, поставил им — на вбитый у шахты главного подъемника в породу чугунный маркшейдерский столик — бутылку поддельной “Столичной”, притыренную на цыганском толчке, но ревматические подземные ласточки, крохотные старчики обоего или никоего пола в башмачках деревянных и сюртучках буро-желтых, темно-зеленых и блекло-лиловых оказались и полунемы, и полуслепы, хмелели всей гурьбою с солонки “Столичной” и сами искали кого, кто бы их куда-нибудь вывел или по меньшей мере принес им колбасы, яичек и хлеба из верхних миров. В этих видах они повелели пацанчику приспустить поколенно портки и, капая салом с огарков, удостоверились. Но всего больше они надеялись, что пацанчик знает (или откуда-нибудь сможет узнать) какое-то *поворотное слово* — *чтоб наизнанку вывернуть гору*.

— С тех пор так и ходят, суки, за мной — куда я, туда и они. Сил уже нет никаких. А на подольше отлучишься — бабки же надо подзашибить где-нибудь! — воротишься — слезно пишат и лоскуты у себя из одеж выдирают:

на, мол, чего-ничего напиши, какое-никакое поворотное слово. Но некоторые, слава-те-осподи, уже вроде как разызуверились обо мне и завели себе новый обычай: оплошных жидовских людей на низ воровать, да чтоб подревнее да покультурнее видом. И их моей колбасой кормят!

Длинный зашикал на выкрик и поделал рукой, будто бил об пол баскетбольный невидимый мячик. Короткий опять зашептал-забормотал неразборчиво, и то падающее, то поднимающееся его бормотание в отдельности от значения слов звучало как разговор не по-русски. Проснулся я от скрежета трудно раскрываемой двери.

— Ну, бывай, землячок, может, когда и перестыкнемся еще, — сказал с подножки подземный пацанчик, подоил протянутую сверху ладонь, подковырнул вешмешок и отставая сошел — с завывающим и отстающим *в Ерусали-и-и....* Остальной на одной ноге и одной руке вывелился в свистящую тьму, уловил и затянул дверь, быстро оглянулся на меня, искоса спящую, и, кивая, пошел из тамбура прочь.

САТИРА ПЯТАЯ
ДЕКАБРЬ
ДЕВЯНОСТО ТРЕТЬЕГО

*Orbem iam totum victor Romanus habebat,
qua mare, qua terrae, qua sidus currit utrumque;
nec satiatius erat.*

C. Petronii Satiricon liber¹

- 1 Римлянин царь-победитель владел без раздела вселенной;
Морем, и сушей, и всем, что двое светил освещают.
Но ненасытен он был.

Петроний Арбитр. "Сатирикон"
(лат., перевод *** под ред. Б.И. Ярхо)

ГЛАВА 28

ЦЕЗАРЬ В ВЕРТОЛЕТЕ

Всё уже выстроилось внизу, всё успокоилось, разве что шарами еще воздушными колыхается так легонечко и маленькими, зажатыми в мохнатую варежку матрацными флагами — всё: и детский сад на веревочке; и обе школы рядами поростно-повозрастно; и мужские цыгане по возрастанию степени родства к депутату Яношику на ступеньках у ратуши; и женские девушки шеренгой по возрастанию грудного угла; и Карел Готт торчком в “мерседесе-бенце G3a”; и нянечка Али с хомяком... И даже бургомистры Хайнц-Йорген Вондрачек и Индржих Вернер утихомирились репетировать, и с матерчатых стульчиков восставился юденшлюхтско-жидовскоужлабинский сводный оркестр — единственно эвакуированные наши места себе никак не найдут в отведенном для них за спиной Йозефа Тона секторе. Сходятся и расходятся, огибают друг друга, разделяются на две цепи, схлынывают, перемешиваются и расхлынывают. Похоже, перевернуть если бинокль, на недоученный полонез тусклых сутулых точек или на любимую забаву скифо-

парфянской интеллигенции *а мы разумное, доброе, вечное сеяли, сеяли — а мы разумное, доброе, вечное вытопчем, вытопчем...* Мне становится все холодней у окна, покрасневшие пальцы в почерневших перстнях не осязают уже почти что бинокля, его тонко шероховатых, как бы искрящихся граней — того гляди, *засевереют*. Две длинные машины с затененными стеклами въезжают на площадь — одна с запада, другая с востока; впрочем, последнего — года уже как четыре — и нет никакого: по закону Кундеры от 29.12.1989 публичное употребление слова *vychod* применительно к территории Чехо-тогда-еще-словацкой Республики карается денежным штрафом (3 000 нем. марок) и ограничениями в правах гражданского состояния, ближе по сию пору не определенными. Что я тут вообще делаю и чего с самого утра дожидаюсь, какого морковкина заговенья? Шел бы я лучше к бронетанковой пишмашинке “Рейнметалл” (только где она? что-то нигде не видать), выданной заботливым “Культурбункером”, — со смешной, любимой, неровно наваренной куда попало кириллицей (в разведотделе 7-й добровольческой горнострелковой дивизии СС “Принц Евгений” для караимского поэта Париса Баклажана, ожидавшегося писать заключение по юденшлюхтским лудильщикам, в сорок третьем или четвертом году расстарались). А и сидел бы я лучше у дрожащего столика под пергаментными перепонками торшера и двумя указательными толстую-претолстую книгу нашелкивал: о невидимом десятилетии, о мире, лишенном структур, о щели, куда, посвистывая, утекает время, куда, похлюпывая, стекает пространство, — такую хорошую, чтобы выбранные места из нее гимназистов 216-й школы Центрального района города-героя Санкт-Петербурга заставляли в двадцать первом веке учить наизусть и драли бы розгами, если будут сбиваться, — в актовом зале, где раньше стоял гипсовый бюст Моисея Марковича Гольдштейна, патрона-имядавца пионерской дружины им. Володарского, а теперь, не ис-

ключено, эсера Сергеева, его застрелившего, — *старый Дубчек, весь преобразенный...*

Но почему все-таки Джулиена цинциннатского Голдстина нигде нет — и внизу нет, в учтиво ликующих народах земли, и в студии нет, в башне донжонной напротив!? Там у него под матрацем, в папке со следственным делом об убийстве Аврама Левински и братьев Лео и Иеремиаса Хаззан, сыскалось несколько писем, адресованы: Mr J. Goldstein. Оказалось, я зря обижался на дядю Яхуда — прислал, оказалось, как миленький — и еще месяц назад! — из Лапландии перевод пергаментного клочка, тесно исписанного хазарскими телефончиками:

<...> <тогда?>ОТ [ИЗ] СОЕДИНЕНИЯ ГЛИНЫ
И КРОВИ (вар.: ГЛИНЫ И ЗОЛОТА)
ДВУХ СЫНОВЕЙ И ДВУХ ДОЧЕРЕЙ

(неясно: может означать “двух сыновей и дочерей” или просто “сына и дочери”, неясно также, уподобляются ли “глина” и “кровь/золото” “сыновьям и дочерям” или же “глина” и “кровь/золото” являются принадлежностями “сыновей и дочерей”; очень маловероятно, но полностью не исключено: “двух сыновей и двух дочерей глины и крови/золота”)

<произойдет> КАГАН [ЦАРЬ] ИЗБАВИТЕЛЬ
[ОСВОБОДИТЕЛЬ?] <...> ПОВЕДЕТ (м.б. “перенесет”)
В ИЕРУСАЛИМ ДЛЯ СПАСЕНИЯ ИЛИ
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ГИБЕЛИ <...>

В сопроводительной записке Сарра Николайнен, аспирантка с финно-угорского отделения, слезно жаловалась на испорченность текста, плохое качество копии и сложность древневенгерского языка, наверняка с целью поднять ценность личной услуги научному руководителю, сам же дядя Яхуд высказывал на обороте предположение, что под “каганом-освободителем” имеется в виду Александр II, которого обожали меньшинства Россий-

ской империи, а некоторые талмудисты сравнивали с Александром Македонским и персидским царем Киром. *А может, Дизразли. А может, и Костюшко. Хотя вряд ли.* Таким образом, фрагмент датировался “не позже 1881 г.” *Работу твоего протеза я просмотрел, писал дядя Яхуд фиолетово дальше. Есть интересные мысли и факты. По не совсем для меня понятным причинам за последние несколько месяцев мое положение в университете несколько поколебалось, и я даже не очень уверен, что мне самому контракт уж так уж просто продлят, но с факультетским начальством я все же поговорю. Только молодой человек должен понимать, что у нас тут, как известно, не Париж, а родина Деда Мороза — тундра, олени, лопари, полярная ночь, а всех развлечений — субботние танцы в клубе студенческого общежития “Большой Чум” — с весьма возможным мордобоем и совершенно неизбежным каскадом блевоты по главной лестнице. В заключение дядя Яхуд передавал приветы папе и маме (если будешь звонить) и делился трогательными воспоминаниями о моем детстве, как он меня носил на руках (от буфета до пианино). Родственность его с годами сделалась отчасти пугающей: Ты мне, Жулик, даже приснился на днях, не знаю с чего — будто ты лежишь в нашей трофейной колясочке, но не младенец, а маленький взрослый в очках и с усами (ты сейчас носишь усы?), а наша покойная нянька, почему-то босая, толкает тебя по Владимирскому, по стороне, где Театр Ленсовета, в сторону Колокольной, улыбается так иронически и матом бормочет. Ну, ты ее совсем, наверно, не помнишь. А может, оно даже и к лучшему, если мне контракт не продлят — вернусь в Ленинград, буду водить финских туристов на экскурсии по ликеро-водочным заводам. А ты что собираешься делать после стипендии, куда дальше? Пиши, не забывай. Целую, любящий д. Я.*

И действительно, что собираюсь я делать? Времени почти не осталось, чтобы решить.

От моей башни до голдстиновской странно путаный ход под землей — с заворотами и развилками, завалами и тупиками, спусками и подъемами, с какими-то петлями на разных уровнях, хотя, казалось бы, чего проще? — отсюда дотуда, ровно три с половиной минуты пешочком по площади. И промозгло там как-то нечеловечески — если понюхать воротничок и манжетки, кружева до сих пор еще пахнут мясохладобойнями (снести, что ли, блузку в машину стиральную к Ирмгард?). Два часа туда, два обратно — фонарь “летучая мышь”, прихваченный из кладовки у Йозефа Тона, то гаснул, то опять загорался (надо было его накрутить), летучие мыши, порожденные Юденшлюхтской горой, шуршали, замерзшая гниль деревянных настилов лопалась под каблуком, как стекло, из-за подпорок глазели глаза... — насили, спотыкаясь, дошел, да и ногу еще о какой-то неожиданный угол ушиб, напухло вокруг лодыжки... — не дай бог, растянул или подвернул что-нибудь. Где-то в бедре что-то тянет, какая-то жила — не сесть: так битый день у окна и стоишь — с одной полусогнутой, как полутораногая цапля. С подземельем этим всегда так, когда ни пойдешь: всегда приключения. Не будь у меня подземельного плана (Марженка разыскала в архиве — калечная трубка, перевязана суровой ниткой, лопнувшей, и запечатана сургучом, рассыпавшимся в рыжую пыль при вынимании из ящика “*Staedtische Untergrundkommunikationen*”), и вообще бы я оттуда не вышел, так бы и остался сидеть в скальной нише — скелетированным трупом, шуршащим и хрупким. Через каждые десять шагов надо было по новой на корточки и, зажавши в зубах кислую фонарную петельку, всю эту кальку раскатывать на щелкающих под юбкой коленях: заглядывать в чертеж, такой мелкий, что и бинокль пришлось захватить. Но не единственно только для этого: еще я хотел посмотреть, которые части моей студии видны Голдстину от себя, что он

там, у подоконника простаивая часы напролет, высматривает такое в бинокль; третьего дня не успел — все боялся, что внезапно возьмет и вернется из Карловых Вар, но этот, сегодняшний раз был уже точно последний — скоро я уезжаю из Юденшлюхта совсем. План подземелья был русским чертежным почерком мелко по нижнему полю подписан: *Ответственный за проектные работы ст. инженер III Спецуправления Московского Метрополитена им. тов. Л.М.Кагановича Я.Д. Иванов-Вернер. 29.XII.1940.* Изменившийся ветер поворотил меня (я уронил на тесемке бинокль, обеими руками вцепился в подоконник и почти что не сдвинулся). Преторианские вертолеты — три болотно-пятнистых — все как один залегли набок и взмыли пологой дугой, показав хвостовые кресты с огоньками. За спиной, в полутемной студии, подпрыгивая, поехали стулья, кривыми крыльями замахали дверцы и двери, покачнулся и прислонился к дивану торшер. Один вертолет перемахнул за чешскую вершину Юденшлюхтской горы, другой за немецкую, а третий остался висеть, но совсем высоко — пилота и стрелка-радиста уже и в бинокль не видно, только перепончатое брюхо и расставленные курносые лыжи. Ветер не стих, а еще пуше усилился — но ветер какой-то другой: широкий и плоский. Что-то огромное, что-то сверкающее начало спускаться на площадь.

Над городом гудит большой вертолет. Он бежевый с золоченым пропеллером. Это вертолет, где сидит Цезарь. Все люди, все дети в Центральной Европе хотят увидеть и услышать его. В вертолете он быстро везде. На площади ожидают колорадские горные стрелки, ожидают пограничники чешские и немецкие, худые и толстые девушки в фольклорной одежде и много-много людей. Все хотят посмотреть, как Цезарь прилетит в вертолете. Как огромная рыба сквозь серо-зеленую воду летит вертолет.

Он становится все больше и больше, все громче и громче гудит. Теперь он почти у земли. Все хватаются за фуражки и шляпы, у кого они есть, рождественская пирамида начинает вертеться быстрее пропеллера. Вот вертолет становится лыжами на газон, пропеллер начинает замедляться. Колорадские горные стрелки и пограничники становятся по стойке *смирно*. Вождь выпрыгивает. Быстро проходит он мимо строя девушек и улыбается каждой. Поднимает для приветствия руку, потом прикладывает ее к безухой пустой голове.

ГЛАВА 29

ГЕРМАН И ДОРОФЕЕВА

За спиной у меня снова самопроизвольно и яростно (с тактом 13 секунд) замелькал телевизор — выгнутый гигантским парусом “Loewe”, и не на комодике на моем поцарапанном (куда только делся? и где мой бакенбардами страшный Бетховен, куда унесли?), а на колеснице из гнутых дюралевых трубок, белеющих матово: двадцать четыре немецкие программы общеимперского кабеля, пять чешских, CNN, “Евроспорт”, MTV и TRT — страстное турецкое иновещание имени Полада Бюль-Бюль-оглы показывают — с разноязычными титрами — одну и ту же картинку:

как огромная рыба сквозь серо-зеленую воду летит вертолет. Он становится все больше и больше, все громче и громче гудит. Теперь он почти у земли. Все хватаются за фуражки и шляпы, у кого они есть, рождественская пирамида начинает вертеться быстрее пропеллера. Вот вертолет становится лыжами на газон, пропеллер начинает замедляться. Колорадские горные стрелки и пограничники становятся

по стойке *смирно*. Вождь выпрыгивает. Быстро проходит он мимо строя девушек и улыбается каждой. Поднимает для приветствия руку, потом прикладывает ее к безухой пустой голове.

Я повзглядывал то туда, то сюда, сверил по моим командирским — прямая трансляция с тремя минутами запозывания — и застрял: загляделся в смутно-янтарные, ласково-неподвижные глаза Йозефа Тона. Его голова с подбородком вытарчивается над строем встречающих простоволосых (у ректора немецкой гимназии д-ра Вольфганга Поспишила лысина в форме слегка курсивного Ф, а у о. Адальвина Кошки, фарара Пелегржиновой катедралы — перевернутым Т), и даже над тульями зеленых фуражек, перышками егерских шляп и мохнатыми завершьями зимнеспортивных вязаных шлемов. Руки — в коротковатых рукавах выходного бушлата с двумя рядами золотых якорей, пронзительно надраенных мелом, — он растопырил, а ноги в жестяных сапогах, где катышами засохла в морщинах самодельная цыганская вакса, расставил как мог шире — чтобы дорогу к Великому Рукопожателю заградить общежитским евреям, высовывающим у него из-под мышек то одно бледное лицо, то другое, с бородками и без бородок, *а то начнут еще мучить советами, как управлять Вселенной... А чего там управлять, говна пирога...* медленно думает Йозеф Тон и для перевода неподвижных зрачков поворачивает сквозь заискренную морось (в сумеречном воздухе и у него в волосах и на скулах) все свое круглое желтоватое лицо кверху: там, в окошке архива, за Ирмгард (что плещет флажками, как сигнальный матрос), ему виден отдаленно-золотисто светящийся полумесяц: лицо Марженки. В груди Йозефа Тона делается угрожающе жарко, глаза заслоняются влажной радужной пленкой, непроизвольной улыбкой раздвигается рот — всё как всегда, всё как и в

первый раз, когда он ее увидал, 13 апреля 1968 г. в четвертом часу пополудни: обернутая дымной овчиной, а под нею в платьице сине-белом матросском, натянутом на исцарапанные коленки, сидела у заброшенной штольни рудника номер три дробь четырнадцать в нейтральной полосе между Чехословакией и Западной Германией, у старого окаменевшего террикона, лет так по виду шести или, может, семи, и неподвижно смотрела куда-то поверх Йозефа Тона, раздирающего руками проводочную сетку погранзаграждения. И сейчас смотрит не вниз, на него, а еще дальше наверх — на меня. А я стою в бойнице культурбункерной башни и подвигиваю биноклем вверх-вниз, не отнимая его от очков, что делает меня отчетливо похожей на луноход. *У кого четыре глаза, тот похож на водолаза*, лет двадцать восемь тому назад дразнилась в пионерском лагере краснознаменного завода “Вибратор” под Стрельной Люся Драйцун из второго отряда. У меня их с биноклем шесть. Нет, восемь.

Йозеф Тон надувает щеки и, подпрыгивая вывернутыми губами, высвобождает изо рта серебристое облако кеплеровских звездочек. Потом проводит пологую дугу подбородком — оглядывает площадь. Все юденшлюхтцы — Поспишилы, Прохазки и Водички — и все жидовскоужлабинцы — Мюллеры, Райнеры, Вернеры — известны ему как свои пять пальцев, растопыренно выходящих из желтой ладони без линий, — и отцы их, и деды, и прадеды были точно так же известны. После войны Райнеры, Мюллеры и Вернеры остались на чехословацкой стороне, а Поспишилы, Прохазки и Водички перешли на одну из немецких. “Настоящего, природного чеха можно узнать по немецкой фамилии, — любит пан Индржих Вернер, жидовскоужлабинский градоначальник, дразнить юденшлюхтского бургомистра д-ра Вондрачека. — А у кого славянская, тот, значит, вирусный шваб или ев-

рейчик какой перемастыренный — замаскировались после войны”. “После какой, какой войны, — горячится дедушка Вондрачек, хлопая по взмыленным клеткам кафкианской клеенки бокалом дешевого будейовицкого. — После этой?” “После всякой”, — отрезает дедечек Вернер. Все Вернеры, каких знал Йозеф Тон, были чехами, за исключением одного, который был русским.

Карел Готт (беззвучно для Тона, не говоря уже обо мне) прокашливается и наморщивает (с несоразмерным результату усилием) плоский переносничный треугольник на своем в остальном еще ту же натянутом на яблочные скулы лице. Склоняет к левому плечу голову, поднимает над собой микрофон и, поворачивая туловище внутри “мерседеса-бенца G3a “ то в одну сторону, то в другую, а свободной рукой полусогнутой размешивая сгустившийся воздух, поет по-английски, немецки и чешски песню на музыку из кинофильма “Доктор Живаго” — диагонально снизу вверх. Слова, сказанные ли, спетые на всех какие ни есть языках, Йозеф Тон разбирает по движению губ, только не у американцев, конечно. Что, например, говорит сейчас на ухо свитскому евнуху в генеральском мундире седой безухий бойскаут (а потом хлопает в ладоши и хохочет, прищурясь)? — Йозеф Тон не знает, хоть его на месте убей. Но и заспанных своих общежитских понять ему тоже едва удастся, чего такое они говорят: советские и американцы, единственные в мире, звукоизвлекают почти без шевеления лицевых мускулов — одним языком в чуть приоткрытом, кривоватом рту. Или, как Лео Толстой написал в “Криге унд Фридене”: *рте*. Прежде было иначе — баронессу фон Юденшлюхт-Дорофейефф Йозеф Тон научился хорошо понимать почти сразу же, как она в 1924 году объявилась б. смолянкой Амалией фон Дорофейефф из б. С.-Петербурга, адмиральской сиротой и беженкой от большевицких на-

силлий. Когда же старый барон Герман фон Юденшлюхт стал ее нанимать в гувернантки к непополовозрелым барончикам и запросил в этой связи полицейское свидетельство о добронравии (*polizeiliches Fuehrungszeugnis*), по нансеновскому паспорту она, конечно, оказалась мешанкой местечка Язычно Язычненского уезда Екатеринославской губернии Малкой Залмановой Каценеленбоген, 1908 г. р., но нравия тем не менее, по данным Карлсбадского полицей-президиума, доброго (*nicht als Prostituierte gefuehrt / neni prostitutka*). Такое уточнение на артикуляцию ее не повлияло, как на французскую, так и на немецкую, поэтому экономный барон ее все-таки ангажировал — за половинные деньги. *Только что же на площади ее нету?* равнодушно тревожится Йозеф Тон. *Тянитолкай, от собеса приставленный, арап или, может быть, мавра... измаильтянин, одним словом, какой-то... этот вон заявился, стоит у воротец с букетиком, а пани-то Юденшлюхтова где же, неужто не захотела поглядеть на нового цезаря, при ее-то старческой любознательности? ...А вдруг и она пропала? Что-то стали в последнее время чересчур часто у нас пропадать старики... давно не было, чтобы так было... с тех пор, как...* Йозеф Тон вспоминает, огибая лицом площадь, как погибли последние юденшлюхтские лудильщики: в начале апреля 1945 года все оставшиеся в городе, кроме нескольких подростков, незаконно ушедших за диким луком и шампиньонами в штольни, кругом семьдесят семь человек женщин, стариков и детей, во главе с еврейским полицейским Якобом-Израилем Каганским вышли по приказу барона Иоахима фон Юденшлюхта, руководителя антигитлеровского сопротивления, из гетто на площадь, построились у каштана в каре и получили белые флаги с шестиконечной желтой звездой посредине — махать самолетам. С самым большим флагом Якоб-Израиль Каганский полез на старую башню. На новой висел уже один,

без звезды белый. В середину каре барон Иоахим вывел под ручку отца, старого Германа фон Юденшлюхта, и мачеху Амалию фон Юденшлюхт-Дорофейефф, урожденную Каценеленбоген, выпущенную с этой целью из секретного покоя Юденшлюхтского замка, где она с декабря 1938 г. пила кофий (позднее — желудковый), читала “Войну и мир” и играла на фисгармонии “Танец семи покрывал” из оперы Рихарда Штрауса “Саломея”, считаясь официально сбежавшей в Америку. “Птички, — сказал старый барон и рыжими пальцами потер нос с орлиной горбинкой на кончике. — Видишь, Амальхен, птички. По выражению Бартоломеуса Англикуса, птички — это драгоценности неба, знаешь ты это?” Гудение нарастало. Сверкающе-холодное апрельское солнце потемнело. Две *летающие крепости* Б-17 под прикрытием звена *аэрокобр* вышли на Юденшлюхт с запада. Четыре тонны консервированной ветчины и двести килограмм шоколада уничтожили всех собравшихся на Ратушной площади, включая обоих баронов. Единственно баронессу Амалию, полуживую и непрестанно повторяющую *ин ди мамэ а райн, ин ди мамэ а райн*, выкопал Йозеф Тон из-под семидесяти девяти трупов, но ходить своими раздавленными ногами она уже не могла никогда.

ГЛАВА 30

БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК НА КРАЮ НОЧИ

...Покуда я (взмокший, особенно здесь, здесь и здесь), бегал и ползал в горé под Трехратушной площадью (за качаньем фонаря моего “летучая мышь” вспыхивали осклизлые ноги опорных столбов — пухлой кривой белизной, наспринцовой черным извилистым газом, а истинные летучие мыши вниз головой разбегались по потолку, чиркая неслышными лапочками и шурша шумными крыльями), а затем хромал в ледяных сумерках к д-ру Марвану Шахиди на Судетскую улицу (*Личный врач шаха Персии, Dr. med. Univ. Teheran, терапевт и хирург, открыт круглосуточно, все стражкассы*) — бинтовать ногу от лодыжки до колена (бедро я ему не показывал, опасаясь разоблачения), а потом битый час, подсакивая и приседая, карабкался по башенной лестнице (триста девяносто ступенек, косо врезанных в наклоненную над Юденшлюхтом скалу), какое-то, кроме телевизора “Лёве”, еще мне “Культурбункер” и зеркало в коридорчик подвесил туманно-взволнованное! И торшер с матово-серебристым плафоном в форме шапочки Нефертити поставили рядом

с тахтой новый, и дорожку на полу заменили — была в рыжих полосах, стала в коричнево-крапчатых звездах: с восемнадцатого века народный промысел шахтерских вдов рудногорских, ныне перенятый цыганками с вьетнамского рынка. Не иначе к прибытию новой смены стараются, *шик-блеск-красоту* навели (как говаривал дядя Борис Горносталь, ответственный квартиросъемщик, после еженедельной дежурной уборки проинспектировав *места общего пользования*, — а баба Катя, не повернув головы проплывающая мимо распахнутой двери в *места*, сообщала особенно никому: *мыла не устала, помыла не узнала*). Бумаги стипендиата Десяносто Четвертого Года показала мне Ирмгард-подруга, когда его личное дело пришло от д-ра Трегера из Нюрнберга: ну, француз как француз — с кардинальской эспаньолкой и в железных очечках, криво сидящих на вдавленном *носе* (таком вдавленном, что *на носу* про этот нос уже как бы не скажешь), а по имени *M^r le comte Charles-Antoine de Golembovskaya*, 1946 г. р. Оказалось, этот граф де Голембовская, как это ни удивительно, мне не совсем неизвестен: оказалось, в октябре восемьдесят девятого года мы с ним вместе участвовали в советско-французской конференции творческой интеллигенции “Новый мировой порядок: тысячелетняя диктатура терпимости” в г. Бресте-Бретонском и даже как-то раз за полночь разговорились (в гостиничном холле на смеси польского и английского) о том и о сем: поздний сын польской графини, содержавшей в Карлсбаде военно-полевой дом терпимости при дивизии СС “Шарлемань” (выгодное дельце — у СС была исключительная монополия на торговлю сельтерской водой в Богемии и Моравии) и отступившей с остатками ее до самой Бретани (ночные переходы лесными дорогами, обвивающими вздымленные лунным светом холмы; днем отлеживались в заброшенных прирейнских градириях и полуразбомбленных бельгийских мельницах). По ходу

этого анабазиса Шарль-Антуан и был семидесятилетней графиней зачат от полуроты семнадцатилетних французских эсэсовцев. В культурбункере он намеревался методом симульганного наложения симулякров сочинять драматическое исследование в 33 картинах “Le brave soldat Svejk au bout de la nuit” — “Бравый солдат Швейк на краю ночи”. Я как в стипендионной заявке это прочел у него, так и закричал, как кричат немые — клокочуще-сдавленным “Ы”, а и так закричал, что прибежала изнутри глаз побледневшая Марженка, а Ирмгард, уютно рассказывавшая о Ярославле (“А я ему: сегодня я невменяемая. А он так растерянно: и что ж теперь делать? А я ему: что делать, что делать! На простынь спускать, дурачок!”), запнулась и высунула укушенный, налившийся лиловатой кровью язык: это МОЕГО выступления темой на международной конференции в Бресте было утверждение, что симпатичный Йозеф Швейк и несимпатичный Фердинанд Бардамю суть не два персонажа двух разных романов, а один персонаж одного метаромана: *человек с разрозненным сознанием и полусредним всеобщим образованием, недоходяец из народа, мазурик-мещанин в поношенном котелке и с бамбуковой тросточкой, что выношен был тепло-слизистым, самодовольным, уютно-вонючим чревом прогрессистской утопии Победившего Разума и Вечного Мира — утопии двух европейских десятилетий перед Первой мировой войной, и именно этой семидесятипятилетней войной (она, кстати, закончилась буквально на днях, в октябре Восемьдесят Девятого года) вырожден, выпущен на край ночи, в собственно ХХ век, главным действующим лицом которого стал. Сангвинический комуняка Гашек описывает его извне — нам смешно и слегка лестно, холерический фашистюга Селин показывает его изнутри — нам противно и слегка стыдно, но это всего лишь различие не между температурами даже, а между третьим и первым лицом нарратива. Любопытно, что и сюжет обеих книг, особенно в первых ча-*

стях, практически совпадает: начало войны, бессознательное заражение массовым ликованием, добровольная запись на военную службу, инстинктивное протрезвление, попытка скосить и пр. и пр. и пр. Хорошо бы печатать оба романа под одной обложкой — с двух сторон навстречу друг другу, такой книгой-перевертышем; вместе они создадут стереоскопический, постоянно переключающийся с субъективного “он” (автор описывает) на объективное “я” (герой рассказывает), взаимодополнительный текст — “Бравый солдат Швейк на краю ночи”... С кафедры меня проводили молчанием: французы уже не помнили, кто такой Гашек, русские еще не знали, кто такой Селин, один только граф Голембовская подкатился в фойе: “Бардзо формидабль, бардзо интересинг, пан коллеге. Ду ю вонт то дринк э филижанку кавы вив ми?”

Из одной длинной-предлинной машины всё вылезают и вылезают высокие толстые люди в толстых черных пальто, из другой — маленькие и худые в отороченных рыбьим мехом куртенышах из кожзаменителя. Непонятно, как они там умещались, особенно первые в первой. Но они вылезают и выстраиваются по обе стороны от рождественской пирамиды, крайние задевают ее боками, пирамида начинает покачиваться и, вероятно, скрипеть, жестяные гном, черт и жид, вертясь и выгибаясь, трясутся, цезарь прерывает рукопожатия, подходит и останавливает пирамиду обеими руками в летных перчатках. Гном, черт и жид жестяные больше не вертятся, но еще дрожат и, вероятно, позванивают, прискрежетывая. В окулярах моего бинокля со шкалой расстояний (только я не знаю, как ею пользоваться, и до сих пор еще не нашел тайную кнопчку под колесиком резкости — может, просто проворачивать и с силой во всех местах нажимать?), в кресте без перекрестья — по-детски наморщенный лоб Цезаря, боком склоненный к вытянутому шевелению

розовых губ переводчицы с какими-то бурыми крошками, прилипшими к нежным морщинкам. Внезапно и Цезарь, седоголовый пацанчик, и гувернантка-лисичка его с поднятым под глаза воротом рыжей шубки, и переводчица, и бургомистры-шофеты, и Карел Готт, и полотораногие девки, и сводный оркестр, и все остальные на площади поднимают головы к небу, кроме, конечно, Йозефа Тона и коренастых мужчин в просторных костюмах с искрой — те суют правую руку под левую мышку и становятся перед Цезарем спинами в треугольник. Мои защищенные берушами уши стискивает гулко и глухо, в бинокле “Карл Цейс” начинает ослепительно-многоцветно мелькать: это над ущельем, почти что перед самым лицом у меня, в цветах американского флага рассыпается фейерверк — полосы, полосы, полосы... звезды, звезды, звезды... Плотно запахло отстрелянной селитрой и невидимым дымом — как в бункерном тире на досафовском стрельбище в Коломьягах, где в девятом классе сдавали ГТО по мелкокалиберной подготовке. Этаким фейерверк — не в виде абстрактной садово-парковой архитектуры наших старых салютов, а затейливый, *со значением* — до сих пор я видал только раз: когда ездил под новый 1992 г. в столицу остаточной Скифопарфии, выездные бумаги родительские в американское посольство возил, а на третий день января улетал из Шереметьева на премьеру моей пьесы в Харбинском государственном театре теней им. Ли Си-цына (оттуда — дальше на Запад, в Улан-Батор). Фейерверк в бело-сине-красных цветах нововводимого триколора был запален прямо над Красной площадью. Пухлыми пальцами, полными широких колец, указав на него с балкона своей квартиры в вэтэошном доме по Большому Девятинскому переулку (удобно, как раз напротив посольства), шекастая драматургесса с маленькими черными усиками глубоко под носом с гостеприимной московской хвастливостью пояснила: “За-

падногерманская одна фирма, только не помню как называется, подарила нашей молодой демократии. Крупнейший производитель фейерверков в Европе. На радостях и в ознаменование пятидесятилетия фирмы — ее самый первый заказ тоже был на организацию новогоднего фейерверка в Москве, осенью сорок первого года — от вермахта. Но не сложилось... Представляешь, какие бывают сюжеты?”

Я представляю, какие бывают сюжеты.

...Но откуда же, интересная штука, палили? Из вертолетов — нет, сомнительно! — или же с обеих вершин Юденшлюхтской горы, где уже две недели как поставлены какие-то алюминиевые щиты с прорезями и окошечками?

К оркестру выходит о. Адальвин Кошка, подтягивает рукава праздничной рясы и взмахивает обоеручно. Оркестр сглотнул, вставил в рот мундштуки и взыграл, не сводя с неба глаз, вот только что? — гимн? Ой, навряд ли. Если бы гимн, Цезарь и генералы его взяли бы немедленно за сердце, да и по программе гимн Американской Империи следует заключительным номером, а сейчас... — я вытянул из кармана программку и скосил правый глаз из-под окуляра — вот: “Gloria, gloria, halleluiah”. Как высказался (судя по отчету двуязычного ежемесячника “Рудногорский христианин”, стопками выкладываемого на паперть собора Св. Пилигрима, а также на крышу гондонного автомата в сортире кафе “Кафка” и в других общедоступных местах) в торжественной проповеди, посвященной Рождеству и приезду Цезаря Августа Принцепса, патер Адальвин Кошка: “Бог давно забыл еврейский и греческий, зато почти что уже выучился английскому”. Вообще интересная была проповедь, начиналась же так:

Первый европеец

В Рождество Года Божьего 800 король франков и лангобардов Карл, названный позднее Великим и Шарлеманем, был коронован в Риме Святым Отцом Львом III. Первый европеец Нового времени стал первым императором Новой Римской империи. Впервые со времен римлян Европа снова была объединена под одним скипетром, под одним законом, границы укреплены, война с благородными маврами окончена почетным и вечным миром, язычники-саксы окончательно усмирены и их остатки крещены, а из 20 славянских племен в Саксонии осталось только одно — лужичане. Наступало Время Европы...

ГЛАВА 31

БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК НА КРАЮ НОЧИ [II]

Из телевизора у меня за спиной — закапанно, скошенно, тускло — отражаются в распахнутую бойничную створку лица президентов и королей, премьер-министров и канцлеров, накативших в длинных-предлинных машинах или же, следом за Самым Могущественным Мужчиной Мира, снесенных преторианцами под локотки из огромного бежевого вертолета. Сам вертолет стоит на прикаштанном газоне с затемненными стеклами, вздрагивает все реже, все медленнее проворачивает золоченые лопасти над собой. Вот остановился дрожать, перестал проворачивать. Лица одно за одним, крупный план: полузакрытые благоговейно глаза, щеки — чем восточнее, тем неровнее и нервнее, рты — чем западнее, тем уже и неподвижно-улыбчивей, общее выражение, как бы сказал — на площади так и не появившийся — старик Голоцван, *вы казали, мы слухали*. Жалко, если с ним что-то случилось, — хороший был старик, б. директор лесопилки им. К. Маркса, умевший рассказывать о деревянном с тем почти нестерпимым лиризмом, с каким американ-

ские негры разговаривают по-английски, пожилые евреи по-польски и русские пьяницы матом. Только Голоцваниха вон печально стоит, на часики смотрит — стоическая старуха курящая, бывшая преподавательница на-найского языка в леспромхозовском интернате и автор большинства песен и плясок ансамбля песни и пляски имени Кола Бельды, проехавшая всю Евразию (*Куда ты, Хаим, туда и я, Хая*) от лесопилки под Биробиджаном до зоомагазина “Хомячий Рай” на голубой шестерке с третьим двигателем. ...13 секунд, перескок: полузакрытые благоговейно глаза, щеки — чем восточнее, тем неровнее и нервнее, рты — чем западнее, тем уже и неподвижно-улыбчивей. ...13 секунд, перескок: *что вдруг?* — кто робко так пляшет в тесном вагонном проходе, с маленькой гавайской гитарой, втиснутой под нечеловеческие груди, с плоской фляжкой, ненадежно заткнутой за чулочную сбрую?.. титры по-турецки... .. — Ах да, узнал я тебе адресок, паразит, — сказал в августе Джек Капельмейстер-Голубчик и поставил мои чемоданы на транспортер “Чешских авиалиний”, заскрежетавший и поехавший. — Еврейская мученица твоя, когда была замужем за Артуром Миллером, проживала по адресу Восточная Пятьдесят седьмая улица, дом 444, на вот, я тебе выписал. ...Ну, извини, извини, сволочь я, сам знаю — жмурь полосатая и гнойная падла... вчера только вспомнил, что ты просил, на “Аиде”... В следующий раз ходим, когда приедешь, никуда оно не денется, метеорит не упадет. ...А то вот остался бы ты до 19 августа по старому стилю, ходили бы на Пятьдесят седьмую, а потом бы отметили сто девятнадцатый день рожденья тельняшки. В бане у нас. Может, поменяешь билет? А я бы тебя с женой познакомил... да, собственно, ты как бы и знаешь ее — фигушки, не скажу, будет сюрприз! Но что-то в последнее время... Неважно.

Билет поменять уже было никак, да и не особо мне, честно говоря, в эти термы “Голубчик” хотелось: по случаю

августовской жары там работало изо всех отделений только одно — *фригидариум*, где лежал на воде невзрачный человек в закапанных толстых очках, локтями и подбородком зацеплен за поребрик бассейна. Спина у человека была такая мохнатая, что татуировок не было видно, бледные, венозные, почти безволосые ноги слегка шевелились в воде. Вокруг бассейна, деликатно подгибая пальцы ног, расхаживали по лазоревому кафелю двое под корень остриженных юношей древнеегипетского фасона: в крупнокольчатых цепках и в кожаных передниках до середины чресл. “Леопольд Рихардович Лёвенгерц, высший в Нью-Йорке уголовный авторитет — вор в благодати, — прощептал Капельмейстер. — В разведку я бы с ним пошел, но больше никуда. А это его телохранители — Мишка Помпончик и Мишка Тампончик”.

...“Аллилуйя”, по всей вероятности, уже отыграли, и на кафедру забирается пан Индржих Вернер с приветствием от жидовскоужлабинского магистрата. “Твое императорское величество, дорогой мистер Цезарь! Господа президенты, короли, премьер-министры и канцлеры! Леди и джентльмены! Братья и сестры! Для всех прочих солнце может всходить на востоке. Для нас, центральноевропейцев, и в том числе и особенно чехов, солнце восходит на западе!” Слегка поворачивается в соответствующую сторону и слегка нагибает микрофон на закат. Жидовскоужлабинская часть публики, чешская школа с учителями и все девки в фольклорных костюмах, как блондинки, так и брюнетки, бурно и продолжительно аплодируют. Скифопарфянские эвакуированные подпрыгивают за спиной Йозефа Тона и хлопают в воздухе ладонью об ладонь. Затесавшийся в их среду зубной врач Юлиус Гофман-Штален, барон фон Юденшлюхт в серебристом плаще и приклеенной к лысине дерматиновой кепочке помогает Лиле Перманент прыгать, поддержи-

вая ее из-за спины за подмышки. Президент энергично встряхивает безухой седой головой, сплевывает и показывает большой палец. “Два раза в этом столетии, в тридцать восьмом году, по просьбе наших друзей, и в сорок восьмом, при их молчаливом согласии, мы обрекли себя на заклание, чтобы спасти священные камни Европы от наступающих варваров. Если бы не мы, не наш жертвенный подвиг, кривоногие монголы в мохнатых шапках сорок пять лет купали бы своих лошадей не только в Висле и Влтаве, но и в Сене и Темзе. Сегодня наши заслуги наконец признаны, мы уверенно движемся по дороге домой, в Вечную Империю свободы и цивилизации!”

Дальше в приветствии, предопубликованном в “Жидовскоужлабинских новинах”, шла речь о надежде и праве центральноевропейцев — чехов, ляхов и молдовалахов — занять в семье цивилизованных народов достойное их исторической миссии место (изобретение пластиковой взрывчатки особо отмечалось как выдающийся вклад в европейскую культуру, наряду с “чешской улочкой”, футбольным пасом вразрез, пивами пльзеньским и будейовицким, бравым солдатом Швейком и клюшечным искусством Владимира Мартинца), и *пусть лучше наши внуки будут стоять на обочинах древнеримских шоссе, чем наши внуки будут строить мосты на Камчатке*, заканчивался один из наиболее ярких периодов.

...Пятого августа, в день поминовения святой и блаженной мученицы Мерилины, убиенной поставлением барбитуратовой клизмы, ходили с Капельмейстером в ресторан “Таврия”. Попили немного борща. “Вон, — сказал Джек Капельмейстер нежно, — сидит наше всё”. В дальнем углу, овеваемый неблагоприятным куреньем, сидел, устало оттопырив нижнюю губу, вольноотпущенный скифопарфянский Овидий и вольнонаемный Вергилий Американской Империи, в желтом венке набекрень. К

столику его стояла очередь кротких паломниц в очечках и пепельных хвостиках, с кислотных тонов трусами в руке. Смотри куда-то в сторону, Вергилий затягивался, выдыхал дым на треугольный штемпель и припечатывал к очередным трусам “1993.VIII.05. MIN NET. J.B.”

Уши сдавило опять — над Юденшлюхтским ущельем (расползаясь во все стороны одновременно) колеблются: синий равносторонний треугольник и две полосы с косым заострением на каждой — белая и красная полосы. Оплывают, текут, распадаются на пернатые ворохи, хвостатыми точками стекают на площадь, но, дойдя до земли, растворяются; несколько искр коротко осветили пустотелый каштан изнутри, а несколько — на зачерствшем тортике ратуши циферблат итальянский снаружи: без тринадцати восемнадцать. Без тринадцати шесть на моих командирских. Я кашляю, опять надышавшийся порохом. А может, действительно прямо отсюда в Россию обратно, то есть не в Россию, конечно, а в б. Ленинград? Цымбалиста в три шеи, квартиру на Невском сдать язычниковскому отчиму под *навороченный офис*, у старика Горносталя стрельнинскую дачу обратно купить или же цыганский какой сарай по соседству, да и зажечь анахоретом, слыша лишь море, цыганское пенье на музыку Глинки, слова Кукольника через забор да ворчание бабы Кати, мертвой няньки, если ее еще раз отпустят ко мне? Лет за семь в тишине я, пожалуй, и досочинил бы “Нового Голема”, роман о пятьдесят третьем годе, о гибели бессмертного Великого Хана — хотя человечеству, конечно, и старого Голема совершенно достаточно, великой книги бездарного Майринка.

— И-и, широко разосралси-и! — ядовито-визгливо сказал полужнакомый голос у меня за спиной. — Дура в коф-

те! Чтоб даже пока и не думал в Расею-то ездить! Там еще кофей мужеска пола и по ледяной пустыне ходит лихой человек!

Я, екнув подложечкой и загоревшись щеками, обернулся и отшагнул вбок от оконного света: так и есть — в больших железных очках на пухлом квадратном лице, в густо-лиловом полупальто из хорошего довоенного драпчика, в вязаной розовой шапке, из ячеек которой вылезали на разные стороны тонкие белые волосы, — но босиком (не пошиты еще сапоги на эти слоновой болезнью вздутые ноги) на дорожке в коричнево-красчатых звездах стояла баба Катя и поверх оправы смотрела белесо-пронзительно, как живая.

— С биноклем-то поаккуратнее, шалопутный, ужжешь еще кого не того... А дача, все одно она Борисом Пятровичем на тебя будет завещанная. Только он раньше, как годков через тринадцать-сямнадцать, и не откинется во все. Тогда и езжай. То есть *яжьжай*.

Руки в карманах пальто, с неожиданной легкостью разбежалась мелкими шажками вздутых, в полумраке пронзительно белых ступней, у окончання дорожки толкнулась и прокинулась рыбкой в окошко, во вспыхивающий то одним, то другим, то третьим цветом сумрачный пар. Некоторое время летела параллельно земле, будто собираясь вонзиться в бойницу голдстиновской башни напротив, но где-то на середине пути заложила, планируя драповыми плавниками, внезапный вираж. Перевернулась неподвижным, пухло белеющим лицом к небесам, резко забрала вверх и постепенно стала стоймя исчезать — в черноту над золотом и пурпуром следующего фейерверка. Пуховая квадратная голова, драповая спина, босые ноги... Усвоив бабу Катю, фейерверк разлетелся затейли-

вым кренделем, а из него переложился пунктирным очертанием объединенной Германии, как на телевизионном прогнозе погоды. В самой глубине раскрытой на восток глотки начал разрастаться пустой крест типа мальтийского, обведен контурами — красным и желтым. Внизу оркестр надувался уже снова щеками, снова пучил лобные ижицы. Дедушка Вондрачек вскарабкивался на кафедру с приветственным адресом в папке из вздутой оленьей кожи. Ирмагд налегла низом живота на подоконник и оживленнейше махала. Марженка из темноты архива держала ее за ноги и исподлобья смотрела куда-то направо и вверх.

ГЛАВА 32

НОВЫЙ ГОЛЕМ

В Приложении 13 к диссертации Голдстина (со с. *App XIII-i* по с. *App. XIII-ii*), в печатное издание (сто шестьдесят девять тысяч проданных экземпляров в твердой обложке) не вошедшем (Шекля мне сделала фотокопию с рукописи, хранящейся в Фонде вдовы Годдес), приводится в отрывках письмо “от неизвестного”, обнаружено у покойного Джейкоба Кагански на нижней полке комода, среди старых счетов и вырезок из научных журналов (преимущественно на тему “Был ли Армстронг на Луне” — конечно, не Луи, не черный слон с золотым хоботом). Бумага обычная почтовая без водяных знаков в одну восьмую листа, машинопись на немецком языке, датировано 21.11.1984, подписано *С товарищеским приветом, Твой И. ф. Т. ...Но главная проблема, которую нам, старый товарищ, следует разрешить, значилось среди прочего в этом письме, как нам из программного кода НГ убрать это раввинское мракобесие — ограничение на “ненанесение вреда Израилю” (“защитить народ Божий”, “расстроить намеренья злонамеренных” и про-*

чий бред религиозно и национально ограниченных средневековых еврейских фанатиков)? А вдруг во имя цивилизации, гуманности и мира между народами нужно будет повалить какой-нибудь небоскреб в Буэнос-Айресе, Свердловске или Шанхае, а там на сто восемнадцатом этаже в тысяча одиннадцатой комнате он учует четвертушку или осьмушку еврейской души? Он же мыча побежит ее обнимать. Никто у нас такое не купит. Вот если бы в формуле НГ постоянную величину “народ Божий” можно было заменить на переменную, значение которой мануально вводится оператором! Увы, думаю, не получится — слишком уж формула разветвленная и слишком уж тесно и сложно она связана с центральной функцией активации. Перспективнее, вероятно, поработать над внесением дополнительного определения, расширяюще переобозначающего постоянную: “Цивилизованное человечество” больше или равно “Народу Израиля”. А может, оставить пока постоянную и вместо этого повозиться с функцией ограничения по пользе-защите? Как ты думаешь?

...Кажется, закругляется герр доктор Вондрачек с зачтением адреса. А быстро! Молодец! Ирка-подруга — но только после того, как я побожилась, что *бля буду*, — пересвистела буквально на днях: адрес-де предприимчивым дедушкой списан с его же собственной речи, читанной геноссе Вондрачком, тогда первым секретарем Юденшлюхтского горкома СЕПГ, в конце ноября 1984 г. по случаю неофициального и строго секретного посещения Ост-Юденшлюхта с иголки новым и, как оказалось, последним Великим Ханом Скифопарфянского Великого Ханства — рыхлым и коренастым старцем с незаросшим на лысине младенческим родничком. Строго секретно надо было постоять у плетня, у калиточки стальной пограничной, дуга белой жести по верху, с тогдашним Президентом Американской Империи — через

забор *обменяться*. Даже и папочка адресная, из оленьей вспученной кожи, с тисненной золотом надписью *Judenschlucht*, та же самая! — забыта в парном отделении горкомовской сауны, где производилось (как и было ханским торжественным протоколом предписано) представление ост-юденшлюхтского партхозактива и прине-сение присяги на вечную верность. Титулование, конечно, пришлось заменить — с *Товарищ Великий Хан!* на *Мистер Великий Цезарь!* — бедная Ирка сидела, как Папа Карло, в архиве до ночи, бритовкой (по основному назначению она ее называет *шахновской-махновской*) подтирала и готическим почерком вписывала, пока Вондрачек-дедушка-бургомистр прохладился в жидовскоужлабинской “Кафке” даровым будейовицким и ученой беседой с коллегой и компаньоном гастрономическим Индржихом Вернером.

Всё, зачитал, переминается с папкой под мышкой на кафедре, ждет, пока оркестр отдудит, а Карел Готт из командирского “бенца” искоса вверх отпоет *безьюбераллесный юбераллес*. Потом они с Вернером берутся отрепетированно за руки и, цепляясь фольклорными шпорами зеленых сапожек за жухлый газон (сбивая поэтому шаг), не шатко, но валко маршируют под мигающий рождественскими сетями каштан — к Императору всего Запада, Пантократору Свободного Мира Цезарю Августу Принцепсу. Оба в зеленых егерских шляпах с вороньим перышком обок, оба с гладкими белыми бакенбардами, обвисающими с толстеньких щек, и с пеной пивной, узкими усиками зачерствевшей на верхних губах, оба в коричневых суконных куртках без ворота, расшитых по бортику лежачими золотыми восьмерками. Подходят и опускаются перед бойскаутом на колени. А из августейшего вертолета как раз уже выпрыгнул широкобедрый молодой человек во фраке при бабочке, странно знакомое у него какое-то разноухое личико, свежесвыбритое,

но уже затененное; но только где же я видел его? Над головой, на трех растопыренных пальцах правой щепоти, хрустальный поднос — балансирует между незримиыми столиками (свитские евнухи расступаются, толстые мужчины в пальто и тонкие в зябких куртенышах становятся по стойке *смирно*), короткие ножки семянят, длинное туловище наклоняется то в одну сторону, то в другую (поднос над головой недвижимо параллелен земле). Пронес, принес, не уронил, слава богу.

Светоч Цивилизации, Вечный Двигатель Прогресса, Самый Могуущественный Мужчина на Свете и прочая, прочая, прочая хлопает юношу по плечу (тот передергивается и как бы весь сверху донизу колыхается, только поднос недвижим), зачерпывает с подноса сигару “Партагас” и сует ее в рот. Изображая курение, пыхает пятиугольными щечками пару раз (нет, сигара, конечно же, не зажжена — курить ему рано еще, гувернантка укоризненно смотрит поверх лисьего ворота), после чего и дедушке Вондрачеку с дедечком Вернером под носом проводит понюхать и в рот дает пожевать (другим, незажженным концом, что представляет собой, согласно описанию церемониала в программке, *старинный индейский обычай из “Песни о Гайавате”*, *символическое значение: “Маниту ниспосылает мир и благоденствие племенам”*). Потом вкладывает, дважды понюханную и пожеванную, в нагрудный карман летной кожанки. Юноша, виляя, убегает назад, к вертолету с подносом (пустым, но тем не менее вознесенным на расставленной щепоти). ...А, вспомнил, когда и где видел — да этим же летом в Нью-Йорке: внук замглавврача папиной поликлиники, приезжал из Калифорнии на каникулы, торговал *качеством жизни* (никто не купил) и ездил каждый день в Гринвич-Виллидж (полтора часа на метро) договариваться там *с одним человеком*, чтоб устроил на хорошую практику.

...Сеюшим просо жестом Шекля сняла с головы дегтярные волосы, уложенные крупными полукольцами (“?” — “Юлик, я же замужня женщина!”), кинула их мне на живот и, задирая под ягодицы желтоватые пятки (локти ее были прижаты к бокам, а ладони у плеч поворачивались вместе со всем туловищем из стороны в сторону), побежала по мусорной гальке в Атлантический океан. Ее гладкий лопоухий череп долго чернел и сверкал далеко в серо-зеленом. Потом вышла, по пояс в пене и водорослях, долго чихала и ругалась на коннектикутские власти, не занимающиеся расчисткой побережья и близлежащего моря. Но на платный пляж она сама не хотела. До темноты мы сидели под дюной, поросшей какой-то серебристой нерусской травой, пили просроченное жигулевское пиво из “Закрытого распределителя” и ели бутерброды с колбасой “Еврейская твердокопченая”, выданные мамой на баню. Деревья шевелили ветвями, хотя ветра не было. В тростнике шуршали какие-то нерусские злые зверьки. Нерусские чайки летали над морем вниз головой, как летучие мыши. На лесных дорожках встречались конные отдыхающие группами и поодиночке, с языкатыми псами. Было похоже на летний лагерь конной полиции. В сумерках глаза псов загорались янтарно и нагло, а лошадей — жемчужно и иронически. Череп у Шекли высох до последней капли, она натянула прическу. “Ну, ты, Грибоедов! Хочешь в городе Уотерфорде посмотреть дом Юджина О’Нила? Проходил в литинституте, кто такой? Тут на машине рукой подать. А переночуем в Фифроуме. ...Ну, как, пригодится тебе для романа, чего я там отсинила? Глянул?”

...А может, оставить пока постоянную и вместо этого повозиться с функцией ограничения по пользе-защите? Как ты думаешь? Далее по ходу письма И. ф. Т уговаривал

голдстиновского дедушку поднапрячься, ссылаясь на его выдающиеся научные заслуги и совместную работу в берлинском Институте химии и электрохимии им. кайзера Вильгельма с великим Фрицем Хабером, чьи открытия изменили лицо XX века, а также взывая к дедушки Каганского европейскому самосознанию и американскому патриотизму. *Вот если бы ты мог написать уравнение, определяющее для НГ, что наивысшей пользой и защитой для евреев было бы их полное исчезновение! Тогда бы им уже ничего не грозило, никаких “злонамеренных” просто не существовало бы. Еврейство бы стало таким же полноценным наследием Западной Цивилизации, как и античность, и евреев, эту ушедшую шеренгу мудрецов и героев, все бы любили — никому же не придет в голову ненавидеть древних греков и римлян....* Подстрочное примечание диссертанта сообщало, что Фриц Хабер (1868—1934), Нобелевская премия по химии за 1918 г. за синтез аммиака из его элементов, родился в Бреслау в ассимилированной еврейской семье и являлся одним из основных разработчиков боевых газов, примененных Германской империей в Первой мировой войне. *Страстный немецкий патриот, Ф. Х. пытается в это же время изобрести метод получения золота из морской воды, что, в случае успеха несомненно привело бы к поражению сил Антанты. В 20-х гг., по заказу Германского общества по борьбе с вредителями, Ф. Х. изобретает знаменитый газ “Циклон Б”. Невзирая на все эти заслуги, после 1933 г. Хабер был вынужден покинуть возглавляемый им Институт им. кайзера Вильгельма (ныне им. Фрица Хабера) и покинуть Германию. На пути из Англии в Палестину Фриц Хабер скончался в г. Базеле от инфаркта.*

Капельмейстер сказал, провожая меня в аэропорту им. Кеннеди: “Для нас, евреев, Америка — как для наших

прадедов царский городской: без нее было бы еще страшнее. ...Жена моя... то есть бывшая... пропала чего-то последнее время... На связь не выходит почти, а стрелки переносит открытками — раз за разом... Даже и не знаю, что думать... Ну, ничего. Жена найдет себе другого, а паразиты — никогда! Точно?!”

ГЛАВА 33

НОВЫЙ ГОЛЕМ [II], ИЛИ ОХОТНИКИ ЗА КРАЙНЕЙ ПЛОТЬЮ

Цезарь сунул сигару в нагрудный карман, приобнял за плечи обоих шофетов, запрокинул седое мальчишечье лицо и что-то вдохновенное выкрикнул — в микрофон, подставленный к его сапожковому подбородку дедушкой Вондрачеком. Цезарево лицо в биноклевом перекрестье морщится, расплывается — сколько я ни накручиваю колесико резкости! — раздувается как бы светящимся шариком, как бы сверкающим облачком пара.

...Нет, вроде наладилось.

Жители деловито теснятся, заползают друг другу на спины, подпрыгивают, опираясь друг другу на плечи, шевелящимися пальцами тянутся к высокому пожатью, суют блокноты, открытки и бейсбольные кепки под роспись. Скифопарфянские эвакуированные в тусклых куртках, не в силах прорвать заграждение Йозефа Тона, все же продвинули его общим давлением ближе и высовываются из подмышек. Нянечка Али, держа высоко над чалмой хомяка (*mesocricetus auratus*), подпрыгивает в перед-

нем ряду с неподвижным лицом. Изогнувшись в полете, как баскетбольный центровой над кольцом, вкладывает Цезарю ауратуса в зависшую между пожатий десницу (шуйца оживленно надписывает чью-то бейсболку). Цезарь медленно подносит руку к лицу и щурится на золотое животное ошалело, однако же смеется, подмигивает бургомистрам и тычет на него большим пальцем другой руки. Бургомистры аплодируют. Хомяк нюхает воздух вокруг августейшей ладони, разворачивается и пускается по рукаву вверх. Карабкается, семенит, погибает по сгибу, карабкается, оскользаясь, но зацепляясь за рукавные складки — докарабкивается до плеча, добегают до гладкой пятиугольной щеки, тянет золотую усатую мордочку к безухому уху, мордочка вставляется в ушное отверстие, ворочается там пушисто, лижется горячим и острым языком, *делает хомячка*, как называется у Ирмгард эта общежитская ласка. Улыбка Цезаря становится все блаженнее и блаженнее, щелочные шелки очей почти что смыкаются. Народонаселение отдыхает прыгать и глядит, приоткрыв пачку. Нянечка Али удовлетворенно кивает и разгибает из кулака над чалмой холеные смуглые пальцы в искрящихся кольцах. Большой... указательный... средний... безымянный... мизинец: мезокрикетус взрывается у цезаря в ухе, седая безухая голова разлетается, по выражению русской былины, *в говенные крохи*. Бьет фонтаном синяя, белая и красная кровь. Тело еще некоторое время самопроизвольно стоит, потом вскинутые в момент взрыва руки опускаются на круглые плечи шофетов и цепляются за них в последней судороге; безголовое туловище Цезаря обвисает. Трое в кривоногих костюмах заламывают нянечке Али гнущиеся во всех направлениях руки, тот, впрочем, не сопротивляется, только что-то счастливое шепчет. Публика на площади рапидом расступается от сотрясенного взрывом каштана и закачавшейся-завращавшейся пирамиды — шаг за шагом в ногу, не в силах даже устроить панику и ходынку. Только

мужские цыгане на ступеньках у ратуши сидят, как сидели — свесив ладони с коленей. На переносном электрическом гриле перед Яношиком Хорватом, слегка уже дымясь сквозь потемневшую сверканием морось, доходят шестнадцать ежей. Йозеф Тон поворачивается спиной к площади и огораживает сбившихся в дрожащую кучку скифопарфянцев удлинившимися бесконечно руками. Ирмгард висит из окна, распустив губы (*как будто здесь вафли летают!*) и два белых батона грудей, выколоченных взрывной волной из корсажа и свисших в ущелье. Марженка из темноты комнаты держит ее за ноги, сама же глядит исподлобья куда-то направо и вверх.

Меня начинает потряхивать, признабливать и хочется писать, что со мной всякий раз происходит, когда я становлюсь очевидцем исторических событий — последний раз 21 ноября 1984 г. на стадионе имени Кирова: “Зенит” выиграл у харьковского “Металлиста” и стал чемпионом СССР по футболу. Если бы я уже тогда был женщиной, то на месте отдался бы Юрию Желудкову под номером 9. А может, и так отдался бы.

Шофеты — прицеплены к безголовому императору — бочком-бочком, качком-качком, старческим шажком приставным сошли с кафедры и двинулись (длинные ноги в ковбойских сапожках волочатся по газону) в сторону вертолета. А из вертолета вылез двухметровый старик в матрацной (красно-бело-синей) пижаме не по сезону и оплавленных пластмассовых шлепанцах. Его голое, круглоскулое, не по стати маленькое лицо мучительно-вдохновенно кривится, глазики глубоко голубеют, паутина над ушами клубится и наполняется сумраком. Машет загребаяще внутрь вертолета, кого-то, очевидно, выманивая и приглашая. Из кабины выпрыгнул цезарь — один к одному такой же, как был, — седой безухий пацанчик в

летней кожанке. Следом — двое белобородых в черных круглых шляпах и развевающихся сюртуках сползают на задницах, перенимают у дедушки Вондрачека с дедечком Вернером безголовое тулово старого цезаря и, синхронно размахнувшись, зашвыривают его вглубь вертолета. Новый пробегает вприпрыжку до кафедры (за ним припадая рысят бургомистры), вспрыгивает, запрокидывает румяное седое лицо и приветственно машет над головой кулаками. Я оглядываюсь на телевизор (прямая трансляция с запозданием 3 минуты: вот старый цезарь засовывает сигару в нагрудный карман, вот приобнимает за плечи обоих шофетов, запрокидывает румяное седое лицо и вдохновенное что-то выкрикивает — в микрофон, подставленный д-ром Хайнцем-Йоргеном Вондрачеком к его сапожковому подбородку. Изображение учащено (3 секунды, не больше) скачет с канала на канал, но низом каждой картинки проползает одна и та же немецкая надпись: ICH BIN EIN JUDENSCHLUCHTER!)

“Ich bin ein Judenschluchter!” — выкрикнул в телевизоре цезарь. Жители в телевизоре запрыгали и захлопали и поперли на кафедру. Сейчас, сейчас, вот сейчас будет хомяк, сейчас Американская Империя пошатнется! *Блажен, кто посетил сей мир...* ...Но нет, цезарь приветственно машет над головой кулаками. Оркестр снова поднял ко ртам чешское дерево и немецкую медь, публика скинула шапки, у кого были, цезарь и евнухи во френчах схватились за сердце и заморгали перед собой, и по низу картинка побежало, мигая: OH, SAY, CAN YOU SEE, BY THE DAWN'S EARLY LIGHT WHAT SO PROUDLY WE HAILED AT THE TWILIGHT'S LAST GLEAMING? WHOSE BROAD STRIPES AND BRIGHT STARS, THRO' THE PERILOUS FIGHT, O'ER THE RAMPARTS WE WATCHED, WERE SO GALLANTLY STREAMING. Империя не пошатнулась. *Пир всеблагих* отменяется. Я

не оборачиваясь пошарил рукой сзади, зацепил и закрыл окно. Притиснул посильней створку, повернул ручкой шеколду и поволочил саднящую внутри бедра ногу мимо мелькающего телевизора — к дивану. И присел одной ягодицей на самый-самый краешек.

На столике у дивана, рядом с открытым компьютером (за незаконченной строчкой *Thereunder it would be proposed*, единственной на странице, с равномерностью, вызывающей ощущение аритмии, появляется и исчезает курсор, время: 17.38) — желтый конверт, как Ирмгард говорит, A4, т.е. одиннадцатого формата: плотно набит и по длинной стороне неровно надорван, сплошь в американских марках, синих наклейках авиапочты и каких-то черных, синих и красных штампах и штемпелях: в расплывшихся гербах и смазанных рунах. Один лист вылез на треть, и виден гриф Фонда еврейских исследований вдовы Годдес, слева под ним — начало адреса: Mr. J. Goldstein. Но как же я сразу его не заметил?!

Дорогой сэръ, мы рады предоставить Вам годовую рабочую стипендию нашего Фонда. Ваше жизнеописание и резюме Вашего проекта (сбор материалов к историческому роману “Охотники за крайней плотью” о племени еврейских индейцев, живших в XVII в. на территории Нового Амстердама, и о его вожде, лжемессии Мордехеэ Эспиноза, голландском купце из португальских марранов), переданные Вами через сотрудницу нашего Фонда миссис Аиду Свэртсмен, полностью убедили Попечительский совет. Наши колебания и, как их следствие, запоздание с решением, за которое мы просим нас великодушно извинить, были связаны с тем, что единственный оставшийся у нас невыделенным грант на 1994 г. проходит по квоте на чернокожих исследователей в соответствии с решением Сената от 5.4.1985 г. “О дополнительных твердых квотах для угнетенных меньшинств в организациях, субсидируемых из личных средств Импера-

тора и Народа”. До сих пор мы не слышали ничего о существовании афророссиян, но миссис Свэртсмен заверила нас, что имела полную возможность, во время Вашего визита в наш Фонд летом с.г., удостовериться в том, что Вы чернокожий, поэтому мы ждем Вас начиная с первого числа следующего месяца, т. е. с начала нового, 1994 г. Условия Вашего проживания в квартире для стипендиатов нашего Фонда по адресу Западная 44-я улица, д. 424, Нью-Йорк, Манхэттен, США, а также авиабилет на рейс “Эмерикан Эйрлайнз” Мюнхен—Нью-Йорк (1.1.1994) и копия нашего письма на имя консула США в г. Мюнхене с просьбой о срочной выдаче визы прилагаются. Искренне Ваша, Распорядительница Фонда еврейских исследований Берта Годдес.

Сдавливая с боков, я подоил пакет над столешницей — действительно, из пружинно разошедшейся пачки бумаг выскользнул билет “Эмерикан Эйрлайнз” с приколотой к нему темно-розовой карточкой каталожной, а на ней печатными русскими буквами: *БЕРЕМЕННА МАЛЬЧИКОМ. НЕ ЗАБУДЬ ПРО МАЗЬ. ЦЕЛУЮ, ШЕКЛЯ.* Телевизор погас — сам собой, как и включался. Сделалась темнота. По студии углами ходили огромные тени и разноцветные отблики. Что за дивные, хвостатые мысли фейерверком распускались у меня в голове — о Европе, которая нигде, и о ее невидимых жителях, вечных старчиках обоего или никакого пола! Я полуприлег на диван, сомкнул веки, освободил уши от обоеконечных берушей и услышал — бесконечно отдаленно — таракание вертолетов, обрывки музыки, людской гул, шуршанье эфира.

...Но куда, все же интересно, подевался Джулиен Голдстин?

2000—2002

ВОСКРЕШЕНИЕ ЖИВУЩЕГО: ОБРАЗ ГОЛЕМА В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ

Легенды о рукотворном человеке – големе (от ивритского корня глм – бесформенный, сырой материал), наверное, один из наиболее увлекательных и захватывающих воображение мотивов еврейской мистики. Пожалуй, ни один из сюжетов еврейской традиции не стал источником вдохновения для столь многочисленных литературных, драматических и кинематографических произведений.

Начавшийся еще в XIX веке всплеск интереса к преданиям о големе, достиг наибольшего размаха в следующем столетии. Нарастание экзистенциального напряжения как никогда обострило проблему связи Творца и его творения. Технический прогресс, распахнувший перед человеком просторы неосвоенных возможностей, и лагеря смерти, разверзшие бездны неизведанной жестокости, преклонение перед индивидуальностью и тоталитарные прожекты, эйфория научных открытий в сфере духа и отчаяние индивида от сокрытия Божественного лика – лишь малая часть противоречий, присущих нашей эпохе. В этом контексте проблема феномена человека (прозвучавшая в названии знакового для прошлого столетия философского труда Тейяра де Шардена) в философских и художественных по-

исках новейшего времени. Образ искусственного существа — плода рук человеческих, изначально управляемого хозяином, но выходящего из-под его власти, стал литературно-художественной моделью, позволяющей прикоснуться к проблеме человека.

Одно из наиболее популярных произведений о големе написано достаточно рано — им, безусловно, является классический пример “черного романтизма” — “Голем” Густава Майринка, вышедший в свет в 1915 году. Это произведение, пожалуй, задало тон для всей последующей литературы о големе, опирающейся на интерпретацию еврейских преданий европейской мистической традицией, так называемой “христианской каббалой”. Именно характер описания голема у Майринка позволяет рассмотреть символику образа с точки зрения проблемы контроля творца над творением, вплоть до спекуляций на тему искусственного интеллекта, создания роботов и программирования человеческого сознания.

Почти одновременно с появлением “Голема” Майринка, Хаим Блох издал на немецком языке сборник преданий о сотворении голема Магаралем из Праги* под названием: “Голем. Легенды пражского гетто”, вскоре переведенный и на английский. Книга эта была представлена автором как перевод некоего трактата, “изданного 300 лет назад”, но на самом деле являлась обработкой труда Й. Розенберга, увидевшего свет в 1909 году. Несмотря на то что Розенберг, а за ним и Блох, основывались не столько на древних текстах, сколько на современных им фольклорных мотивах, “Легенды пражского гетто” стали основным источником литературных и художественных сюжетов и, очевидно, хорошо знакомы автору нашего романа.

Наряду с этим с возникновением науки о каббале, инициированной выдающимся израильским ученым Гершомом Герхардом Шолемом (1897—1982), появились серьезные исследования мотивов искусственного человека в еврейских источниках. В настоящее время, пожалуй, одной из самых

* Магараль — акроним имени р. Йегуда-Лива бен Бецалея из Праги (ок. 1525—1609), великого еврейского мыслителя, раввина, каббалиста, философа и математика.

популярных монографий по каббале в мировой науке является книга профессора Еврейского университета в Иерусалиме Моше Иделя, целиком посвященная преданиям о големе*. В ней проанализированы смысловые аспекты учения о големе на основании многочисленных источников, относящихся ко всем периодам истории еврейской мистики. Переведенная на основные европейские языки и популярная среди мировой интеллектуальной элиты, эта книга не могла не оказать влияния на интерес к данной теме.

Слово “голем” встречается уже в классических мидрашах – притчах и легендах, рассматривающих все Писание как единое целое, – особом жанре раввинистического толкования священных текстов. Там оно обозначает начальную стадию творения Первого человека. Мидраш “Берешит Раба” содержит несколько фрагментов, описывающих этот сюжет, один из которых построен как комментарий к стиху из Псалмов – наиболее раннему тексту, использующему термин «голем»:

“Сказал рабби Брахия от имени р. Абы: когда Святой, да будет Он благословен, сотворил Первого человека, сделал Он его големом, и был он распростерт от одного конца мира до другого, как сказано: “Неоформленным [дословно: голем мой] видели меня очи Твои, и в книге Твоей записаны все дни, когда они сотворены будут...”” (Пс 139:16)**

Другой фрагмент говорит о жертвоприношении, связывая понятие “праха земли” – материала для сотворения человеческого тела – с прахом сожженной жертвы. Подобно тому, как созданное из праха земного тело Первого человека оживляется Высшим подобием – “дыханием жизни”, и так через жизнь соединяется с Творцом, сближают Творца и творения жертвы, приносимые в Иерусалимском Храме: само понятие “жертва” (ивр. *корбан*) обозначает “сближение”:

“Из земли, р. Брахия и р. Хельбо от имени р. Шмуэля бар Нахмана сказали: [Первый человек] сотворен [из земли] с места искупления своего (Иерусалимского Храма), как сказано:

* Голем. Магические и мистические предания о создании искусственного человека в иудаизме, Иерусалим, 1996 (ивр.).

** Берешит Раба 5:1.

*"Сделайте мне жертвенник на земле..." (Исх 20: 24) — сказал Святой, да будет Он благословен: "Вот, Я создаю его из того места, где будет дано ему прощение, ради того, чтобы выстоял он в испытаниях". И сказано — и вдохнул в ноздри его — чтобы научить, что воздвиг Он его [Первого человека] големом от земли до неба, и швырнул в него душу дуновением Своим, как положено в этом мире, отчего и стал тот смертным. Но о грядущем сказано, что будет даровано тогда [дыхание жизни], как написано: "И дарую Я вам дух Мой, и будете жить..." (парафраз Иез 36:27–28) "**.*

Жертва, искупающая грех в своем наивысшем смысле — грех Первочеловека и прославляющая Имя Божье, служила также символом единения человека с Творцом. Магараль, имя которого в массовом сознании ассоциируется с големом, в книге "Нецах Исраэль" ("Вечность Израиля") описывает самопожертвование — принесение собственной жизни на алтарь освящения Великого Имени — как вечное предстояние "пред ликом Святого, да будет Он благословен".

Некоторые места из Агады — талмудических текстов, в которых отсутствует законоучительная тематика, — позднее были восприняты как непосредственные указания для практического создания голема. Так, в мидраше "Ваикра Раба" сказано:

*"В день Рош га-Шана ** один час потребовался Святому, да будет Он благословен, чтобы замыслить [сотворение человека], другой час — чтобы посоветоваться с ангелами Служения, в третий час собирал Он прах земли, в четвертый — замешивал его, в пятый — придавал ему форму, в шестом часу [этого дня] сделал Он голема, в седьмом — вдохнул дыхание жизни, в восьмом — ввел человека в Ган Эден, в девятом заповедал ему не есть с Древа познания Добра и Зла; в десятом часу человек нарушил заповедь, в одиннадцатом он был вызван на суд, а в двенадцатом — изгнан"***.*

В мидраше "Ялкут Шимони" голем также ассоциируется с определенной стадией творения:

* Берешит Раба 14:5.

** Буквально "голова года" — Новый год по еврейскому календарю.

*** Ваикра Раба 29:1.

*“Сказал р. Брахия: когда Святой, Да будет Он благословен, задумал сотворить мир, именно с человека начал Он творение, сделав того големом. Пришел Он затем, чтобы швырнуть в него душу, и сказал: “Если сейчас поставлю его, станут говорить, что был он Моим соучастником в творении. Оставлю-ка я его големом, пока не сотворю всего мироздания”. Когда же закончил Он, спросили Его ангелы служения: “Где же человек, о котором Ты говорил, что делаешь его”? Ответил Он: “Я уже сделал его, и не хватает только, чтобы Я швырнул в него душу”. И поставил Он его, и увенчал им весь мир, с него начал, им и завершил, как сказано: “Сзади и спереди Ты сформировал меня” (Пс 139: 50)”**

Итак, в мидрашах голем — это своеобразная заготовка человека, в которую Творец еще не вдохнул душу, не наделил долей Своей светоносной эманации (Нахманид пишет об этом**：“Вдыхающий в ноздри другого, дает ему [часть] от Себя” [дословно “от Собственной души”])***. Очевидно, изначально — применительно к человеку — понятие “голем” означало живое, но лишенное Божественной духовной субстанции существо, которому, однако, передана животная жизненная сила. Наверное, в этом причина дальнейшего переосмысления самого термина “голем” — человек без высшей души может быть только сырым материалом для сотворения истинного человека. Такое создание может оказаться источником насилия, естественного для выживания в мире дикой природы, и человек должен упреждать им, как ему и было заповедано****.

Теперь рассмотрим несколько примеров из мистических текстов. Основной источник, не только упоминающий создание голема, но и рассказывающий, хотя лишь намеками, о том, как его нужно делать, является “Сефер Йецира”

* Ялкут Шимони Берешит 3:34.

** Р. Моше бен Нахман (Нахманид, Рамбан) (1194, Герона — 1270, Аско) — великий еврейский мыслитель, ученый, каббалист, комментатор Священных книг.

*** Рамбан. Комментарий на Книгу Бытия (2:7).

**** “...Владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся на земле” (Быт 1:28).

(“Книга Творения”) — один из наиболее ранних и наиболее важных еврейских мистических текстов. Написан он, по разным оценкам, не ранее II в. н. э. и не позднее VIII–IX вв. “Сефер Йецира” содержит изложение космологии и космогонии, описания магических и медитативных техник. В нем мы встречаем следующие слова:

*“Двадцать две буквы: высек и выгравировал их, взвешивал и переставлял, соединял их вместе, и сформировал ими душу каждого творения, и душу всего, чему еще предстоит быть сотворенным”**.

*“Когда пришел Авраам, отец наш, да пребудет он в мире, взглянул и увидел, исследовал и постиг, высек и выгравировал, и соединил, и сформировал, исчислил — и удалось ему [здесь список р. Элиягу, гаона из Вильны, добавляет: “...творение, как сказано “души, которые сделали они в Харане” (Быт 12:5)”, и открылся ему Владыка мира, да благословится Его имя...”***

Согласно этим строкам, еврейские буквы обладают животворящей силой, и праотец Авраам, являющийся, по преданию, автором “Книги Творения”, первым овладел этой силой на практике. “Души, сделанные Авраамом и Сарой в Харане”, таким образом, были первыми големами, оживленными таинством манипуляций с буквами еврейского алфавита.

Последующие учителя, мистики и комментаторы, основываясь на изречениях “Сефер Йецира”, добавляли подробности процесса создания голема. Язык мистики, как правило, представляет явления одновременно в нескольких плоскостях, поэтому описания, которые на первый взгляд кажутся магическими рецептами изготовления заготовки голема, отнюдь не ограничиваются поверхностными практически предписаниями. Тексты такого рода хранят в себе печать мистического действия, внутреннего переживания, и подразумевают разнообразные символические толкования.

Особую роль концепция голема играла в учении средневекового мистического течения — так называемого средневе-

* Сефер Йецира, 5:3.

** Сефер Йецира, 6:4.

кового германского хасидизма (*хасидей Ашкеназ*), распространенного в XII–XIII вв. в Рейнской области. Учение германских хасидов дошло до нас в основном в трудах рабби Элеазара из Вормса (1165–1230) – наиболее яркого представителя этого течения. В его писаниях мы встречаем неоднозначные изречения, проливающие свет на скрытые смыслы практики создания голема. В Талмуде приводится комментарий на малопонятный стих из книги Иова (38:14): “Изменилась бы, как материя под печатью, и стала подобна облачению...” – “Так Святой, да будет Он благословен, отмечает каждого из людей печатью Первого человека, но ни один из них не становится от этого схожим с другим”*. У р. Элеазара данный комментарий приобретает новый смысл:

*“В будущем праведникам суждено воскрешать мертвых, подобно тому, как это делали пророки Илья, Елисей и Иезекииль, и об этом сказано: “Изменилась бы, как материя под печатью, и стала подобна облачению...” Почему же не сказано “сделалась бы”? Потому что намекает Писание на праведников, которые умеют творить посредством сочетаний букв, подобно рассказанному в “Сефер Йецира” о сотворении человека, отличного от человека, сотворенного Святым, да будет Он благословен, в Премудрости Его. И поэтому сказано: Если согрешит, изменится и станет прахом”**.*

И “Сефер Йецира”, и мидраши повествуют о том, что печатью Своего Великого имени Всевышний сковал шесть сторон света и ключи великой бездны – так хаотический космос приобрел завершенность мироздания. По этому же принципу в интерпретации р. Элеазара строится и микрокосм человека, в котором бесформенная плоть становится *покровом-облачением* души (этот термин обладает и макрокосмическим измерением). Однако, в отличие от деяний Творца, праведники (*цадики*) не могут производить необратимые превращения, но только *изменения*. Эта способность, в свою очередь, зависит от того, соответствует ли мистик внутренне понятию *праведности*. На наш взгляд, термин

* Сангедрин, 38а.

** Сефер Таги, MS Oxford, 1566, цитируется по транскрипции М. Идея: Голем... С. 86.

“праведник” обозначает здесь определенную духовную ступень, достичь которую возможно только при полном слиянии этики, учености, интеллектуальных и мистических способностей адепта. Увидеть, как, согласно р. Элеазару, раскрываются качества праведников непосредственно в процессе создания голема, нам поможет еще один отрывок:

*“Для того чтобы сотворить создание, которое ты пожелаешь, проследи, какую букву поставил в управление над каждой из частей тела его, и вращай их так, как я покажу тебе. И возьми свежей земли (праха) из почвы, которая никогда не засеивалась, и засей ее здесь и там в твоём доме учения в чистоте, и очистишь сам. И сделай из этого праха голема, которого хочешь сотворить и наделить жизнью, и обозначь букву, поставленную в управление, и порождения ее... Произведи также комбинации ... с буквами Святого имени (Тетраграмматона), которым сотворил Он весь мир, и тотчас он (голем) оживет...”**

Стоит обратить внимание на подчеркнутые слова в приведенном отрывке. Итак, мистик в состоянии ритуальной чистоты сначала особым образом очищает пространство творения (по свидетельству Иделя, здесь возможно двойное прочтение рукописи: *бейт-мидраш* – “дом учения”, *бейт-микдаш* – “синагога, храм”), осененное святостью учения и молитвы. Затем он особым образом “оживляет” землю, “засеивая” ее буквами, как семенами, делает из нее заготовку и управляет ею посредством комбинаций букв Тетраграмматона с другими буквами еврейского алфавита. Для этого он совершает специальные перестановки – в соответствии с наиболее сокровенным техническим разделом учения. Слово, которым обозначаются перестановки (*легальгель* – “переворачивать”), употребляется также и по отношению к вращению небесной сферы и может обозначать кругообращение встречных потоков: нисходящей в мир Божественной благодати и восходящих духовных помыслов человека. Вполне возможно, что способность ко всем этим деяниям и есть раскрытие, актуализация истинных качеств *цадика*,

* Данный текст содержится в ряде рукописей, цитируется по М. Идель: Голем... С. 86.

проявляющихся в особом мистическом состоянии, характерном для данного процесса.

Гершом Шолем предполагал, что "...согласно первоначальной концепции, голем оживал лишь на время экстаза его создателя. Создание голема было особенно возвышенным переживанием, испытываемым мистиком, поглощенным тайнами буквенных комбинаций, которые описываются в "Сефер Йецира". Лишь позже народная легенда стала приписывать голему существование, независимое от экстатического сознания его творца, и в позднейшие столетия целый лес легенд вырос вокруг големов и их творцов"*.

Нам сейчас кажется, что объяснить деяния праведника только лишь экстатическим состоянием вряд ли возможно. Вероятно, способность к оживлению мертвой материи с помощью жизненной силы, сокрытой в буквах, можно обрести только в результате всего жизненного опыта создателя голема; *праведность* — это не только склонность к экстазу, но долгий путь мистической жизни. Лишь на вершине этого пути человек способен достичь максимального переживания жизни во всех ее проявлениях, т. е. постижения Высшей цельности в полном смысле слова, как Бога Живых. В процессе создания голема из души праведника изливается сияние Божественного образа и оживляет мертвую материальную оболочку. Поэтому голем жив только за счет души своего создателя, так же как и человек полон истинной жизни только тогда, когда он стремится к слиянию с Творцом мира. Лишь когда связь между человеческой душой и Высшим благом неразрывна, очевидными становятся узы между Источником Божественной благодати и ее проявлениями, и все мироздание обретает единство.

Рабби Элеазар писал также: "Книга есть письменное воплощение голема буквы..."** Сама материя буквы обретает жизнь, будучи начертанной в книге; голем человека, творимый праведником, также оживает, когда его вписывают в книгу Божественных имен — книгу Жизни. Живущий чело-

* Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. Иерусалим, 1993. Т. 1. С. 144–145.

** Комментарий на "Сефер Йецира". Пржемысл, 1888. Л. 2 кол. 2.

век воскресает, вбирая в себя все многообразие проявлений Учения (Торы и ее многоликого раскрытия в мире) и сам становится манифестацией Бога, раскрывая животворящую силу Его имен. Итак, праведник способен воскрешать неживое только потому, что сам достигает высшей жизни, пробуждая в себе неиссякаемый источник нравственных сил и сияние совершенной мудрости. Именно оно, будучи в состоянии одухотворить даже глиняную болванку, спасает живых людей от внутреннего омертвения, слабости и отчаяния.

Герои Олега Юрьева, каждый по своему, отвечают на вопрос об истинности собственного существования, стремятся к реализации своего “я”. Образ голема оживает в романе в причудливом переплетении событий, проблем и философских вопрошаний человека нашего времени. Он, подобно нити, сшивающей время и пространство описанных событий, позволяет затронуть основополагающие вопросы человеческого бытия: смысл Творения и роль человека в мироздании, сущность жизни и смерти, критерии добра и зла и пути развития мира. Главное действующее лицо, рассказчик, Юлий Гольдштейн, стремясь реализовать свои подлинные устремления, сохранив уникальность собственной личности, чтобы не превратиться в голема – автоматизированное бездушное существо нашего времени, сознательно надевает его маску. Образ воскресшей из мертвых бабы Кати – один из самых ярких, в полном смысле слова живых, и в то же время пронизанных щемящей грустью – еще один пример авторского видения жизни.

Нет смысла углубляться в детальный разбор романа – судить о нем положено читателю. Хотелось бы закончить эти заметки фразой майринкского Гиллеля, которая, на наш взгляд, необыкновенно точно соответствует еврейскому пониманию проблемы человека: “...человек... которого ты зовешь Големом, означает воскресение из мертвых внутри духа...”^{*} Остается пожелать, чтобы импульс внутреннего возрождения, свойственный многим героям романа, перешел и его читателям.

Н.-Э. Заболотная

* Майринк Г. Голем. Пер. Д. Выгодского. СПб.: "Азбука", 2000. С. 75.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ ДЕКАБРЬ ДЕВЯНОСТО ВТОРОГО

ГЛАВА 1	
ПЯТЬ МИНУТ НА КЛАДБИЩЕНСКОЙ ГОРКЕ	7

САТИРА ПЕРВАЯ ДЕКАБРЬ ДЕВЯНОСТО ТРЕТЬЕГО

ГЛАВА 2	
ЖЕНЩИНА В ГОЛОМ	15
ГЛАВА 3	
ДВЕ БАШНИ	19
ГЛАВА 4	
ДНИ ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ	27
ГЛАВА 5	
ДЕДУШКА И СМЕРТЬ	34
ГЛАВА 6	
ВОЙНА СТАРИКОВ И ДЕТЕЙ	40
ГЛАВА 7	
АМЕРИКА, КОТОРАЯ ВСЮДУ	45

САТИРА ВТОРАЯ АПРЕЛЬ ДЕВЯНОСТО ТРЕТЬЕГО

ГЛАВА 8	
ТРАУР ПО КИТАЙСКОЙ ИМПЕРАТРИЦЕ	53
ГЛАВА 9	
НА ЛУНЕ ВЕТРА НЕТ	58

ГЛАВА 10	
СУДЬБА ИНТЕЛЛИГЕНТА В РОССИИ	63
ГЛАВА 11	
ЗАГОВОР НЯНЕК	69
ГЛАВА 12	
ЗАГОВОР НЯНЕК [II]	76
ГЛАВА 13	
ГДЕ РУССКОЙ НЕТ ЗЕМЛИ	83

**ВТОРОЕ ВСТУПЛЕНИЕ.
ДЕКАБРЬ ДЕВЯНОСТО ВТОРОГО**

ГЛАВА 14	
О РАСХОЖДЕНИЯХ МЕЖВРЕМЕННОЙ ЩЕЛИ	91

**САТИРА ТРЕТЬЯ
ДЕКАБРЬ ДЕВЯНОСТО ТРЕТЬЕГО**

ГЛАВА 15	
КАШТАН АДОЛЬФ ГИТЛЕР	99
ГЛАВА 16	
ВОЙНА СТАРИКОВ И ДЕТЕЙ [II]	107
ГЛАВА 17	
У ПРАВОГО ВСЕГДА НЕПРАВЫЙ ВИНОВАТ	116
ГЛАВА 18	
КРАСОТА СЛОМАЛА ЧЛЕН	125
ГЛАВА 19	
ХАУЗМАЙСТЕР И ХАУЗМАРГАРИТА	134
ГЛАВА 20	
ДВАДЦАТЬ ГРАНЕЙ РУССКОЙ НАТУРЫ	142

**САТИРА ЧЕТВЕРТАЯ
ИЮЛЬ–АВГУСТ ДЕВЯНОСТО ТРЕТЬЕГО**

ГЛАВА 21	
АМЕРИКУ ОТКРЫЛА КОЛОМБИНА	151
ГЛАВА 22	
АМЕРИКУ ОТКРЫЛА КОЛОМБИНА [II]	158
ГЛАВА 23	
ПИР ТРИМАЛХИОНИДИ	164

ГЛАВА 24	
АМЕРИКУ ОТКРЫЛА КОЛОМБИНА [III]	171
ГЛАВА 25	
МАНХЭТТЕНСКИЙ АНАБАЗИС	177
ГЛАВА 26	
ВАМПУКА	184

**ТРЕТЬЕ ВСТУПЛЕНИЕ
ДЕКАБРЬ ДЕВЯНОСТО ВТОРОГО**

ГЛАВА 27	
ПОПУТНАЯ ПЕСНЯ	195

**САТИРА ПЯТАЯ
ДЕКАБРЬ ДЕВЯНОСТО ТРЕТЬЕГО**

ГЛАВА 28	
ЦЕЗАРЬ В ВЕРТОЛЕТЕ	203
ГЛАВА 29	
ГЕРМАН И ДОРОФЕЕВА	210
ГЛАВА 30	
БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК НА КРАЮ НОЧИ	216
ГЛАВА 31	
БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК НА КРАЮ НОЧИ [II]	223
ГЛАВА 32	
НОВЫЙ ГОЛЕМ	230
ГЛАВА 33	
НОВЫЙ ГОЛЕМ [II], или ОХОТНИКИ ЗА КРАЙНЕЙ ПЛОТЬЮ	237
Н.-Э. Заболотная. Вместо послесловия	
ВОСКРЕШЕНИЕ ЖИВУЩЕГО: ОБРАЗ ГОЛЕМА В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ	243

Олег Юрьев

НОВЫЙ ГОЛЕМ,
или
ВОЙНА СТАРИКОВ И ДЕТЕЙ

Роман в пяти сатирах

Издательство «Мосты культуры»

ЛР № 030851 от 08.09.98

Формат 84 x 108 / 32

Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ.л. 8,0

Подписано в печать 15.06.2004. Зак. № 3864

Тираж 1500 экз.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.



...Юрьев писатель незаурядный и остро воспринимающий современность. Публицистика, лирика, фантазмагория и пародия соединились в «Новом Големе...», и в центре узла — размышления о судьбе человека в сегодняшнем мире. О романе Юрьева сложно сказать в двух-трех словах, в двух-трех фразах, он заслуживает подробного и внимательного обсуждения.

Андрей Урицкий. «Дружба народов» 2003, №2

... Юрьев словно бы сам сидит за гончарным кругом. Собственно, мы видим только самый процесс изготовления Нового Голема. Фрагментарность и незавершенность есть условия постмодернистской ситуации — но формой для этого замечательного романа стал эпос с его стройной архитектуроникой.

Мария Кошель. «НЛО» 2003, №63

Книга Юрьева — это блестящая сатира, посвященная переменам на Востоке и Западе, это путешествие под светом гаснущих звезд. Она не оставляет ложных надежд, но окрыляет своим мастерством и заразительным анархизмом.

Гессенское телевидение, Франкфурт-на-Майне.
Передача «Книги, Книги»

Кажется почти невероятным, что сюжет и хронология этой истории, от которой волосы встают дыбом, подчинены в высшей степени искусной композиции, напоминающей числовую мистику каббалы. ... Смелость автора можно сравнить с дерзостью попытки оживить мертвую материю, создать Голема.

Михаэла Шмитц. «Рейнишер Меркур», Бонн

Глубоко укорененный в своих русско-еврейских корнях, Юрьев уверенно заглядывает в окна мировой истории и обнаруживает там переменчивые, обивающие с толку, смешанные лица, которые он показывает нам с невероятным юмором, бурлящей фантазией и острой пронизательностью. Читатель, однажды увидевший с помощью Юрьева эти лица, долго не сможет их забыть.

Сабина Бауманн. «Юдише альгемайне», Берлин

